

Владимир Владимирович Набоков

Жалобная песнь Супермена

© Compilation copyright © 2023 by The Vladimir Nabokov Literary Foundation

© Состав., предисл., коммент., перевод А. Бабикова, 2023

© А. Бондаренко, Д. Черногаев, художественное оформление, макет, 2023

© 000 “Издательство Аст”, 2023

Издательство CORPUS ®

От редактора

Настоящее собрание поэм Владимира Набокова (1899–1977) составили как хорошо известные, так и впервые публикуемые произведения, написанные в Европе и Америке в течение тридцати лет его долгой писательской жизни. Прделанная в последние годы работа по расшифровке новонайденных в нью-йоркском архиве Набокова поэм позволила существенно дополнить русскую часть его двуязычного поэтического багажа. Все они относятся к раннему периоду творчества Набокова, крымской, университетской (кембриджской) и начальной берлинской поре (1918–1923).

Вспоминая в «Других берегах» годы учебы в Кембридже, Набоков уделит всего несколько слов своему главному занятию того времени – сочинению русских стихов:

Страх забыть или засорить единственное, что успел я выцарапать, довольно, впрочем, сильными когтями, из России, стал прямо болезнью. Окруженный не то романтическими развалинами, не то донкихотским нагромождением томов (тут был и Мельников–Печерский, и старые русские журналы в мраморных переплетах), я мастерил и лакировал мертвые русские стихи, которые вырастали и отвердевали, как блестящие опухоли, вокруг какого-нибудь словесного образа. Как я ужаснулся бы, если бы тогда увидел, что сейчас вижу так ясно – стилистическую зависимость моих русских построений от тех английских поэтов, от Марвелля до Хаусмана, которыми был заражен самый воздух моего тогдашнего быта. Но Боже мой, как я работал над своими ямбами, как пестовал их пеоны – и как радуюсь теперь, что так мало из своих

кембриджских стихов напечатал¹.

Он не упоминает здесь о том, что кроме коротких стихов сочинял в то время большие поэтические произведения, не указанные в библиографиях и оставшиеся неизвестными, поскольку были уничтожены или утрачены им самим предположительно еще в 20-х гг., – во всяком случае, автографы поэм «Легенда о луне» (1920), «На севере диком» (1920), «Солнечный сон» (1923) в его архивах обнаружить не удалось, их тексты сохранились благодаря тому, что были переписаны или перепечатаны его матерью, Еленой Ивановной Набоковой.

Содержательно публикуемые в настоящем собрании ранние и зрелые поэмы Набокова по большей части ретроспективно-автобиографические, посвященные пройденным этапам его жизни. Детство, Петербург, Крым, Юность, Университет, Париж, Слава в заграничных эмигрантских реалиях становятся судьбоносными темами, требующими осмысления и надлежащей оцен-ки. В другой части поэм преобладает вольный вымысел, сказочные или фантастические сюжеты – «На севере диком», «Легенда о луне», «Солнечный сон». Вместе с тем в «Солнечном сне» автобиографического материала (сватовство и расторжение помолвки со Светланой Зиверт, одиночество, интуитивное желание следовать своему дару) не меньше, чем в реалистичной до документальности «Юности». По-своему автобиографичен «Olympicum», близкие Набокову спортивные темы которого (теннис, футбол) повторяются и варьируются в «Юности» и в «Университетской поэме».

В поэмах 1920-х гг. взгляд из эмигрантского настоящего на ностальгически переосмысленное русское прошлое соединяется у Набокова со стремлением противостоять новым течениям в советской литературе. Пафосу строительства нового общества, классовой идеологии, нововведенным искусственным терминам и понятиям советской России он противопоставляет подлинное, исконное, единственно подлежащее сохранению и продолжению в чужой среде: русскую поэтическую традицию, европейскую петербургскую культуру и изысканный столичный русский язык. Тоска по загубленной великой и блистательной России предков завуалированно звучит в сумрачной поэме «На севере диком» и в «Легенде о луне», в которой катастрофа, постигшая древнее царство, причудливо отражает революционные события в России, Гражданскую войну и интервенцию. В поздних «Славе», «Парижской поэме» и «К князю С. М. Качурину» Набоков подводит итоги своего довоенного этапа творчества и помимо той же старой ностальгии по России собственного счастливого детства обращается к новой автобиографической теме: мучительному переходу с русского языка на английский и своей вторичной эмиграции в Америку.

Из ранних поэм Набокова «Электричество», «На севере диком» и «Солнечный сон» – наиболее яркие по замыслу и образному ряду. Последняя из трех, написанная в феврале 1923 г., завершает ювенильный и ученический периоды творчества Набокова и наряду с эссе об английском поэте Руперте Бруке (1922) остается его высшим достижением 1918–1923 гг. Эта поэма об одаренном шахматисте относится к переходной поре писательского становления Набокова,

кульминацией которой стало самое крупное его поэтическое произведение, пятиактная «Трагедия господина Морна», оконченная в начале 1924 г.

Неудача с постановкой и публикацией «Морна» и поиски новых средств выражения побудили Набокова задуматься наконец о большой прозе. В том же году он принимается за свой первый, так и не воплощенный роман «Счастье», который к концу 1925 г. полностью перепишет под названием «Машенька». Своеобразие писательского развития Набокова состоит в том, что его переход к романной форме был подготовлен в равной мере сочинением в начале 1920-х гг. нескольких рассказов (прежде всего «Картофельный эльф», «Удар крыла», «Венецианка»), пьес, сценариев и двух длинных нерифмованных поэтических произведений, «Солнечного сна» и «Трагедии господина Морна»: отказавшись от рифм ради большей повествовательной свободы и более сложной композиции, он приобрел опыт, который позволил ему в 1924–1925 гг. не только изменить направление своего искусства, но и по существу состояться.

В настоящем собрании впервые публикуются поэмы «Двое» (1919), «Легенда о луне» (1920), «Электричество» (1920), «На севере диком» (1920); текст «Солнечного сна» (1923) заново сверен с рукописью, исправлены многочисленные ошибки предыдущих публикаций «Юности» и «Университетской поэмы».

Вне настоящего собрания остается английская поэма Набокова «Бледный огонь» («Pale Fire»), состоящая из 999 строк и сочиненная для одноименного романа (1962), в котором она становится объектом изучения и спекуляций со стороны публикатора. Метрические особенности этого самого крупного английского поэтического произведения Набокова отчасти передают публикуемые нами в Приложении стихи о Супермене, написанные теми же рифмованными героическими двустопными пятистопным ямба (heroic couplet), традиционно используемыми в английской эпической и повествовательной поэзии, которые были доведены до классического образца Александром Поупом (1688–1744).

Готовя во второй половине 1970-х гг. итоговый сборник своих русских стихов, вышедший в «Ардисе» уже после его смерти, Набоков включил в него лишь несколько поэм: «Из калмбрудовой поэмы “Ночное путешествие”», «Слава», «Парижская поэма», «К князю С. М. Качурину». В настоящем издании примечания Набокова к этим произведениям публикуются в Комментарий.

Приношу выражение глубокой признательности сотрудникам Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына (Москва) за предоставление первых и редких публикаций поэм Набокова для сверки текстов.

1918–1947

Детство

i

При звуках, некогда подслушанных минувшим, –
любовью молодой и счастьем обманувшим, –
пред выцветшей давно, знакомую строкой,
с улыбкой начатой, дочитанной с тоской,
порой мы говорим: ужель все это было?
И удивляемся, что сердце позабыло;
какая чудная нам жизнь была дана...

ii

Однажды, грусти полн, стоял я у окна:
братишка мой в саду, – Бог весть во что играя, –
клял камни на карниз. Вдруг, странно замирая,
подумал я: ужель и я таким же был?
И в этот миг все то, что позже я любил,
все, что изведаль я, – обиды и успехи, –
все затуманилось при тихом, светлом смехе
восставших предо мной младенческих годов.

iii

И вот мне хочется в размер простых стихов

то время заключить, когда мне было восемь,
да, только восемь лет. – Мы ничего не просим,
не знаем в эти дни, но многое душой
уж можем угадать. – Я помню дом большой,
я помню лестницу, и мраморной Венеры
меж окон статую, и в детской – полусерый
и полужолотой непостоянный свет.

iv

Вставал я нехотя. (Как будущий поэт,
предпочитал я сон действительности ясной.
Конечно, – не всегда: как торопил я страстно
медлительную ночь пред светлым Рождеством!)
Потом до десяти, склонившись над столом,
писал я чепуху на языке Шекспира,
а после шел гулять...

v

Отдал бы я полмира,
чтоб снова увидеть мир яркий, молодой,
который видел я, когда ходил зимой
вдоль скованной Невы великолепным утром!
Снег, отливающий лазурью, перламутром,
туманом розовым подернутый гранит, –
как в ранние лета все нежит, все пленит!

vi

Тревожишь ты меня, сон дальний, сон неверный...
Как сказочен был свет сквозь арку над Галерной!
А горка изо льда меж липок городских,
смех девочек-подруг, стук санок удалых,
рябые воробьи, чугунная ограда?
О сказка милая, о чистая отрада!

vii

Увы! Все, все теперь мне кажется другим:
собор не так высок, и в сквере перед ним
давно деревьев нет, и уж шаров воздушных,
румяных, голубых, всем ветеркам послушных,
на серой площади никто не продает...
Да что и говорить! Мой город уж не тот...

viii

Зато остались мне тех дней воспоминанья:
я вижу, вижу вновь, как, возвратясь с гулянья,
позавтракав, ложусь в кроватку на часок.
В мечтаньях проходил назначенный мне срок...
Садилась рядом мать и мягко целовала
и пароходики в альбом мне рисовала...

Полезней всех наук был этот миг тиши!

ix

Я разноцветные любил карандаши,
пахучих сургучей густые капли, краски,
бразильских бабочек и английские сказки.
Я чутко им внимал. Я был героем их:
как грозный рыцарь смел, как грустный рыцарь тих,
коленопреклонен пред смутной, пред любимой...
О, как влекли меня – Ричард непобедимый,
свободный Робин Гуд, туманный Ланцелот!

x

Картинку помню я: по озеру плывет
широкий, низкий челн; на нем простерта дева,
на траурном шелку, средь белых роз, а слева
от мертвой, на корме, таинственный старик
седою головой в раздумии поник,
и праздное весло скользит по влаге сонной,
меж лилий водяных...

xi

Глядел я, как влюбленный,
мечтательной тоски, видений странных полн,

на бледность этих плеч, на этот черный челн;
и ныне, как тогда, вопрос меня печалит:
к каким он берегам – неведомым – причалит,
и дева нежная проснется ли когда?

xii

Назад, скорей назад, счастливые года!
Ведь я не выполнил заветов ваших тайных,
ведь жизнь была потом лишь цепью дней случайных,
прожитых без борьбы, забытых без труда.
Иль нет, ошибся я, далекие года!
Одно в душе моей осталось неизменным,
и это – преданность виденьям несравненным,
молитва ясная пред чистой красотой.
Я ей не изменил, и ныне пред собой
я дверь минувшего без страха открываю
и без раскаянья былое призываю!

xiii

Та жизнь была тиха, как ангела любовь.
День мирно протекал. Я вспоминаю вновь, –
безоблачных небес широкое блистанье,
в коляске медленной обычное катанье
и в предзакатный час – бисквиты с молоком.
Когда же сумерки сгущались за окном,

и шторы синие, скрывая мрак зеркальный,
спускались, шелестя, и свет полупечальный,
полуотрадный ламп даль комнат озарял, –
безмолвно, сам с собой, я на полу играл;
в невинных вымыслах, с беспечностью священной,
я жизни подражал по-детски вдохновенно;
из толстых словарей мосты сооружал,
и поезд заводной уверенно бежал
по рельсам жестяным...

xiv

Потом – обед вечерний.
Ночь приближается, и сердце суеверней.
Уж постлана постель, потушены огни.
Я слышу над собой: «Господь тебя храни...»
Кругом чернеет тьма, и только щель дверная
полоской узкою сверкает, – золотая.
Блаженно кутаюсь и, ноги подобрал,
вникаю в радугу обещанных забав...
Как сладостно тепло! И вот я позабылся...

xv

И странно: мнится мне, что сон мой долго длился,
что я проснулся – лишь теперь, и что во сне,
во сне младенческом приснилась юность мне;

что страсть, тревога, мрак – все шутка домового,
что вот сейчас, сейчас ребенком встану снова
и в уголку свой мяч и паровоз найду...

Мечты!..

xvi

Пройдут года, и с ними я уйду,
веселый, дерзостный, но втайне беззащитный,
и после, может быть, потомок любопытный,
стихи безбурные внимательно прочтя,
вздохнет, подумает: он сердцем был дитя!

21–22 августа 1918

Двое

Современная поэма

Гуляет ветер, порхает снег.

Идут двенадцать человек.

Блок

i

Обыкновенный сад старинный,

обыкновенный старый дом...
Друзьям и недругам о нем
я передам рассказ недлинный.
В стихах незвучных и простых
благословлю я жизнь живую,
изобразю я роковую
нежданную судьбу двоих...
Скажу о прихоти жестокой
моей России одинокой,
моей России бредовой, –
лишь с оговоркой: при больной
не рассуждают о болезни.
Поэт не должен проклинать,
а уповать иль вспоминать...
Итак, действительность, исчезни!

ii

От разрушительных затей,
от причитающей печали
мы отвернемся, но едва ли
былое близкое светлей.

.....

Душой и телом крепок, строен
и как-то весело-спокоен –
таков был в эти дни Андрей
Карсавин, химик и зоолог.

Еще и в школьные года
им путь намеченный всегда
был и не труден и не долог.
Потом, обласканный судьбой,
он за границу учился,
вернулся, через год женился
на поэтессе молодой,
и, диссертацию большую
о мимикрии защитив,
в свою усадьбу родовую
с женой уехал.

iii

Молчалив

был этой жизни вдохновенной
уют блаженно–неизменный...
А руль невидимый времен
в ту пору повернулся круто.
Россия билась в муке лютой,
России снился грозный сон:
нечеловеческие лица
и за зарницею зарница
над полем взрытым, и кругом
непрерывающийся гром,
и звучно реющая птица
в кольце белеющих дымков,

среди безмятежных облаков...

iv

Освобожден от службы ратной
по тем причинам, что для вас
не драгоценны, вероятно,
да удлинити бы рассказ, –
не беспокоился Карсавин,
жил, негой мудрой окружен;
меж тем, зловеще–своенравен,
вновь изменился бег времен.

Настала буйная година...

Самосознание гражданина
самосознанием бытия
в душе Андрея заслонялось
и в дни позора не сказалось.
Грешно – нет спора; но ни я,
ни вы, читатели, не смеем
его за это осуждать
и сходство тайное с Андреем
в себе самих должны признать.

Воскликнут гневные потомки,
вникая в омут дел былых:
«Ввысь призывал их голос громкий,
да отставало сердце их!»

v

Ирину нежную – подавно
все это мучить не могло.
Очарованье жизни плавной
в ней жрицу чуткую нашло.
Она любила вдохновенья
сладчайший яд, и льстило ей
перебирать в тиши ночей
слов оживающие звенья;
но дар ее не поражал
ни глубиной, ни силой страстной...
Лишь некой женственностью ясной
необычайно привлекал
стих, – и порывистый, и тихий,
как падающая звезда:
в строке ямбической всегда
был упоительный пиррихий.
О далях жизни, о мечтах
так пело сердце безмятежно,
и рифмы вздрагивали нежно,
как блики света на листьях...

vi

Их белый дом версты на две–три
от сельских пашен отстоял.

Бывало, при восточном ветре,
звон колокольный долетал.
Их ограничивал прогулки
бор величавый, глухо-гулкий,
как ночь, синеющий вокруг.
Жизнь протекала без печали,
газет они не получали
и не слышали толков слуг.
Когда же, охая тревожно,
твердил им старичок-лакей:
«Да мало ль что теперь возможно,
езде разбойники!» – Андрей,
невозмутим, самообманут,
с улыбкой мягкой возражал:
«Что ж, пошлют и перестанут...»

vii

Их мирный рай напоминал
покой благоуханно-нежный
уединенного гнезда
в ветвях черемухи прибрежной,
нависших над рекой мятежной...
И пусть волнуется вода,
и пусть волной вольнолюбивой
скат размывается крутой –
птенцы, неведеньем счастливы,

лишь небо видят над собой!

viii

Вообрази, читатель, темный,
от снега весь лиловый сад,
тень длинную сосны огромной
и тускло-палевый закат.
Мы обойдем, мой друг минутный,
усадьбу старую кругом,
в окне увидим луч уютный
и в дом, незримые, войдем.
Над зеркалом рога олени,
перчатки на столе пред ним...
Идем-ка дале: подозренья
мы все равно не возбудим.
Сюда. Налево. Приоткроем
мы осторожно эту дверь.
С Карсавиным, с моим героем,
ты познакомишься теперь...

ix

Просторна комната простая...
Свет под зеленым колпаком
белеет, мягко озаряя
чешуекрылых под стеклом

разнообразное собрание;
и, сгорбившись в кругу лучей,
карандашом шуршит Андрей.
То – по-латыни описание
мохнатой бабочки одной,
им найденной близ Понтрезины,
на молодом листке осины,
в тринадцатом году, весной...

х

Тебе завидую, ученый:
отрадно творческим умом
миров угадывать законы
по жилке на крыле сквозном.
Отрадно: нравы и строенье
существ малейших изучать
и вековое их значенье
в сопоставленьях постигать.
И счастлив тот невыразимо,
кто может ясность мудреца
согласовать неразделимо
с благоговением жреца, –
в ком жадой истины, познания,
холодной, точной простоты
не заглушается сознание
нерукотворной красоты!

xi

Так – медленно, в труде беззвучном
блаженный протекает срок...

Пора и кончить.

Мотылек

снабжен уж именем научным
и тем языческим значком,
каким на картах астроном
звезду Венеру отмечает...

Пора – но надо перечесть,
неточности, какие есть,
исправить.

xii

Небо потухает.

В оцепененьи ледяном
сад принимает тени ночи.

Покинув кабинет рабочий,
в другую комнату войдем.

Глядит в окно, мрачнеет хмуро,
как нищий безнадежный, день.

От шелкового абажура

прозрачно–розовая тень
легла на кружево подушки.
Свет неподвижный серебрит
фарфоровые безделушки,
и в бликах радужных горит
на ширме лаковой, китайской,
хвост огнецветный птицы райской.

xiii

У добродушного камина,
в полусияньи, в полутьме,
вникает с трепетом Ирина
в сонет туманный Мал<л>армэ.
Но ненадолго. Понемножку
взор отклоняется от строк,
на смутный смотрит потолок...
Ласкает бархатную кошку
все тише тонкая рука.
Сидит Ирина, – молчалива,
о чем–то думает лениво,
чуть улыбается, слегка.
Андрея к бабочкам ревнует,
и все нежнее и нежней
сон легкий, наклонясь над ней,
глаза усталые целует.

Вот на медвежий белый мех
сползает книга... Сновидений,
переплетаясь, реют тени...
Вдруг – дорогой, звенящий смех
и на плече прикосновение
знакомых губ...

xiv

«Ну, полно спать!
Как муза томная Парнасца
умеет ласково подкрасться
и невзначай околдовать!» –
«Ах нет! Я попросту устала
и сон все тот же снился мне, –
вздыхнув, Ирина отвечала. –
Мне вновь мерещилось во сне –

xv

пергамент серо-золотистый
венецианских вечеров
и над лагуною лучистой
напевы струн и голосов.
Там – тень гондолы удлиненной,
там однозвонный ропот струй,
там каждый возглас отдаленный

и каждый смутный поцелуй –
не песнь, а призраки созвучий,
не страсть, а странствующий сон,
не жизнь, а канувших времен
вздых перелетный, вздох певучий...»

Ее не прерывал Андрей;
в нем спорили мечта и разум;
он бы хотел поверить ей,
но по случайным знал рассказам,
что разочарованье ждет
Ирину, что мечты напрасны:
по золоту лагуны ясной
ползет дымящий пароход...

xvi

В лиловой спальне молчаливой
распространился мягкий мрак,
и ждал Андрей нетерпеливо..
Он приближающийся шаг
услышал с дивным содроганьем,
и розовое кимоно
повеяло благоуханьем..
Луч пробежал... и вновь – темно.
О холодок объятий сладкий!

xvii

Чуть шелестели кружев складки;
и сокровенные пути
на сумеречно–нежном теле
уста скользящие умели
во мгле извиистой найти.
И ласкам трепетным учила
все возрастающая страсть,
и в бездну близкую упасть
и не давала, и манила.

Счастливыцы! Пламенных имен,
внушенных первыми ночами,
не забываете, и вами
их звук полнее повторен.
И страсть привычную не станет,
и, углубляясь без конца,
очарованье не завянет
и не насытятся сердца!

.....

xviii

Был вечер ветреный.
Ирина
играла Моцарта, и стон

сквозных аллей был заглушен
прозрачным смехом клавесина.
И трепет маленькой руки,
и у затылка завитки,
чуть золотые, занимали
Андрея более, чем плеск
созвучий пляшущих.

По зале
тьнь протянулась. Только блеск
бледно-рубиновый камина
алел во мгле, как георгина,
взлетал, как призрак мотылька, –
и озарял – то легкий локон,
то мрамор статуи меж окон,
то край лепного потолка.

xix

Рассеялись внезапно звуки...
Ирина встала, и в глазах
как бы крылатый вздрогнул страх –
предчувствие безвестной муки...
«Мне жутко...» – молвила она.
«Но почему?» Сама не знает...
Порой – так сердце замирает
в зеркальных лабиринтах сна.
«Мне жутко...» Пристально-угрюмый

взгляд устремился вниз, в огонь.
«Ну успокойся, ну, не думай...» –
и целовал ее ладонь
Андрей, тревожно–удивленный;
но только с нежностью влюбленной
хотел обнять ее, как вдруг
шум за дверьми услышал странный,
звон дребезжащий, звон стеклянный,
и возглас, и тяжелый стук;
потом – слуги дрожащий шепот,
смех наглый, торопливый топот,
гул незнакомых голосов,
и, сыростью повея снежной,
вошли двенадцать мужиков,
в шинелях, с ружьями...

хх

Небрежно
в карманы руки заложив,
Карсавин ждал, что будет дале...

Они остановились в зале,
его безмолвно окружив.
Потом один, с подбитым глазом,
Андрея за плечо схватил.
Тот, вспыхнув, руку отстранил,

и щелкнули затворы разом...

ххi

Последовала тишина.

Ирина, холодно-бледна,
надменно сжав сухие губы,
прижалась к мужу. Вздрыгнул он.
«Эй, к стенке!» – грянул окрик грубый.

Тогда, спокоен, озарен
душевной силою, без слова,
как укротитель среди зверей,
всех взглядом удержал Андрей
и одного, потом другого
ударив кулаком в лицо,
Ирину поднял, как ребенка,
и мимо, мимо, на крыльцо,
в сад, по сугробам... Хлопнул звонко
вдогонку выстрел... но Андрей
с бесценной ношей своей
в аллее скрылся беспросветной.
Бежал он, не жалея сил,
но уж слабел, слабел заметно,
и задышался, и скользил...

За ним не гнались; рассудили,
что никуда он не уйдет:

в деревне живо бы скрутили,
а в поле – сам и пропадет.

xxii

А между тем, изнемогая
и спотыкаясь каждый миг,
в снег по колени увязая,
он бора мрачного достиг.
Хвоя туманная звенела.
Андрей, порывисто дыша,
остановился. В нем душа
беспомощно оцепенела...
Все отошло – и боль, и страх;
а мысли – мысли, как слепые,
блуждали, странные такие,
все о ненужных пустяках...

На снег недвижную Ирину
он опустил. Над головой
она вдруг повела рукой,
как бы срывая паутину;
вздохнула и очнулась...

xxiii

Мгла

с небес тяжелая текла.
Был жуток ветра шум окрестный
и скрип скрежещущий стволов.
Из-за бегущих облаков
вдруг выглянул мертвец небесный;

разорвалась густая мгла;
раскрытым веером упали
на снег лучи и засверкали, –
холодные, как смерть сама.

xxiv

При этом отблеске те двое
увидели перед собой
то грозное, то слепо-злое,
что прежде кралось стороной:
мир бешенства, борьбы и боли...
Меж тюрем уродливая даль...
Уж красоты не будет боле,
а сердце бьется, сердцу жаль...
Где радость творческого духа?
Где жизни вольные права?
Ирина застонала глухо,
сказала страшные слова:

ххv

«Пустынно, холодно, бессвязно...
Мы умираем, слышишь – ты?
Наш дом поруган безобразно:
горстями вырваны листы
из книг, переплетенных пухло...
Все отзвучало, все потухло...
Твой самый пестрый мотылек,
быть может, к картузу приколот...
Безумие, пустыня, холод...
Бог непонятен и жесток!

ххvi

А мы – лелеяли мы нежно
мертворожденные мечты!..»
Глядит, – но странно безмятежны
Андрея тонкие черты.
Хоть были милы наслажденья,
хоть преждевременен конец, –
смерть принимает без смятенья
эпикурец и мудрец!
«А жить в среде невыносимой
преступников или невежд,
тревогой будничной томимый,
лишенный неги и надежд, –

надломленность и бледность видеть
Ирины горестной моей,
и всех и все возненавидеть –
нет, не хочу!» – сказал Андрей.

xxvii

Стоял он, твердый и спокойный,
обняв Ирину, а над ним
неугомонно ропот хвойный
звучал отчаяньем глухим.
И оба смутно замерзали.
В каком-то вещем забытьи
они склонялись и шептали
слова бессмертные любви.
И только раз, в приливе муки,
не в силах ничего забыть,
Ирина, простирая руки,

воскликнула: «Ах, только б жить!»
Но поцелуем леденящим
был безнадежный прерван крик,
и вот за облаком скользящим
полуоткрылся лунный лик.
И ропот сосен одиноко
во мгле нахлынувшей утих, –
как бы смиряясь пред жестокой

судьбой двух жизней молодых.

xxviii

Когда же нежно–нежно красной
пыльц<о>й подернулся восток,
на пряжке туфельки атласной
луч боязливый изнемог.

И зашукал ветер сонный,
и встрепенувшимся крылом
сорока с ветки оснеженной
стряхнула серебристый ком.
И в чистом воздухе – лучистый,
он, рассыпаясь, просиял,
на чьи–то женственные кисти
цветными искрами упал.
И прояснилась дымка бора,
и засинели небеса;
со стороны усадьбы скоро
раздался хохот, голоса;
шаги скрипели, приближались...
Вдруг шапки, ружья показались
из–за белеющих ветвей.

xxix

Грядите ж, мстители! смелей!

Вот он – помещик окаянный,
вот – кровопиец, и она –
его проклятая жена!

Шли мужики, притихнув странно,
как псы, косясь на трупы их;
но, отделившись от других,
один нагнулся над Ириной,
с руки замерзшей снял кольцо,
взглянул с усмешкою звериной
и плюнул в мертвое лицо.

Ливадия

15–21. I. 19

Легенда о луне

i

Однажды ночью золотою
затейливый и злобный бес
кружился черной запятою
в сияньи девственных небес.
Пред ним был город, и увидел
он человека в вышине,

на темной башне, при луне;
и бес его возненавидел
за блески звезд на рукавах
и за колпак остроконечный.

ii

Он усмехнулся с бесконечной,
бесстыдной злобою в глазах
раскосых, быстро оглянулся,
подумал, снова усмехнулся, –
среди многозвездной тишины
и небо ярче заиграло:
бес принял облик небывалый –
огромной выпуклой луны.

iii

И странное светило это
приметил с вышки человек,
и вычислял он до рассвета
его размеры и разбег.
Когда ж лениво ночь поблекла
и день сказался наконец,
сложил он свитки, вытер стекла –
на вид – бесчувственный мудрец,
но втайне – ужасом объятый...

iv

Как розы, тучи расцвели
над чашей города зубчатой.
В тумане площади, вдали,
на глыбе вспыхнул воин медный
и на щите поймал зарю.
И звездочет спустился, бледный
и важный, с башни, и к царю
вошел с неслыханным докладом.

v

И хмуро слушал царь, а рядом
склонялся в зеркале стенном
его двойник – полуодетый,
босой, в измятом кружевном
воротнике..
(Меж тем валеты
трефовые, у трех ворот,
скликались и сменялись, и народ
уже гудел на рынке жирном.)

vi

И долго скорбный звездочет

с царем беседовал, и вот –
по переулкам, сонным, мирным,
вдоль окон мутно-золотых,
где тени двигались, зевая, –
труба пропела роковая,
и город вздрогнул и притих.

vii

Был мрачен траурный глашат<a>й.
Народ, предчувствием объятый,
глядел на тонкую трубу,
на свиток с царскою печатью,
сулящий страшную судьбу,
и дети прижимались к платью
дрожащих юных матерей,
и старцы горбились покорно,
а некий юноша задорный:
«Прочти, – вскричал, – прочти скорей!»

viii

И вестник, обратясь к народу:
«Мудрец пророчествует смерть, –
конец всему людскому роду:
вчера полуночную твердь
луна иная озарила.

Она чудовищна была,
неописуемо светла!
Увы, как вздутое ветрило,
летит изменница на нас;
в такой-то день, в такой-то час
с землей стремительно столкнется
слепая, буйная луна, –
земля звенящая качнется
и разобьется, как волна!»

ix

Замолк, и весть передавали
друг другу – лысые купцы,
вельможи, воины, слепцы;
все – дрозд на липе, мышь в подвале, –
все ужаснулись. Поползли
по плитам площади, в пыли,
себя бичующего стоны.
Во храмы хлынула толпа.
Подкралась ночь. Молились жены,
а детям снились черепа.

x

Одни все думали о чуде,
другие чуяли конец,

и бледные глядели люди
на бледно–каменный дворец.
Там рядом встали на балконе
два старика: вот тот в короне,
а тот в узорном колпаке.
Народ же зыблился и дико
вопил, в неистовой тоске:
«Когда? О, вымолви, владыко!»
Заплакал царь, и звездочет
ответил сухо: «Через год».

xi

В том царстве некий жил мечтатель,
с душою чистой и с лицом
очаровательным – ваятель
созвучий радужных. Певцом
любви сладчайшим город громко
именовал его с тех пор,
как со свирелью и к<о>томкой
пришел он с северных озер.

xii

Казалось – воздух целовали
его скользящие слова
и день туманился, едва

он умолкал. Куда-то звали
его глаза, – как в полутьме
два улыбающихся бога.
Он жил на розовом холме,
поросшим вереском. Дорога
крутая к городу вела,
и часто к людям он спускался,
без шляпы, стройный, появлялся
на площади Добра и Зла,
разглядывал прохожих, кротко
о чем-то говорил с детьми,
с блудницами да с лошадьми
усталыми... Его походка,
и ясный голос, и глаза
большие были всем известны,
и все его любили за
чудесный дар и взор чудесный.

xiii

Он о блаженстве распевал,
о первой, о последней встрече,
хоть никогда в уста и плечи
он красоту не целовал...
Там, в комнате голубоватой,
среди нежных книг и лепестков
рассыпанных, и малых статуй, –

из лучезарных облаков
он прихотливо и бесцельно
стихи вырезывал свои,
напев мешая колыбельный
с напевом трепетной любви...

xiv

Когда ж над стройною столицей,
как бога пламенного мечь,
метнулась грозною зарницей
испепеляющая весть,
и стук часов твердил унылый:
стареет год, последний год... –
и принял скорбь и страх бескрылый,
как веру новую, народ, –
тогда с улыбкой безотчетной
певец ресницы опустил,
и гений легкий, мимолетный,
его случайно посетил.
И юноша, раскинув руки,
ловил в туманной вышине
полусознательные звуки...
Они, как искорки в волне
заливов южных, ночью пышной, –
текли, змеились в золотом
волшебном трепете; потом –

на пальцах гасли.

И неслышно

он начал: «Тает, тает год.

Во храмах сумрак шепчет хрипло

молитвы. Тают свечи. Вот

какой-то труп лежит. Прилипла

кровь черная к груди. Глупец!

Убил себя... Везде рыданья

глухие, тайные страданья,

оцепененье; лишь купец

хоть плачет, да торгует – плохо

торгует. Жить осталось – год,

и он проходит, он пройдет –

подобно вздоху, легче вздоха...

xv

Но если так, но если свет

потухнуть должен неизбежно,

безумец! – времени ведь нет

пред камнем каяться мятежно,

из мрака совести своей

уродов грозных вызывая

и духу скорби отдавая

остаток драгоценных дней...

Встань, встань, коленапреклоненный!

Я говорю тебе – не плачь,

но, как наследника лишенный,
всю жизнь скупившийся богач,
завидя смерть, затеи ради
распахивает сундуки,
так, обогнув скалу тоски,
вечерний путь склонив к отраде,
спеши! Беспмятно пируй!
Развейся музыкою бурной.
Еще на солнце гроздь пурпурна
и сладок женский поцелуй!
Еще, полны очарованья,
шумят леса, журчат ключи, –
встань и в избытке ликования
свое богатство расточи!»

xvi

Был май шумливый. В исступлен<ь>и
лягушки пели на пруду
в дворцовом золотом саду.
При каждом теплом дуновеньи
касались окон расписных
венцами нежными каштаны.
На вышках, тонких и резных,
с которых полуобезьяны,
полуорлы глядели вниз,
и в небесах прозрачно–синих

звон птичий бисерный повис;
об этих маленьких святынях
весны не вспомнила страна,
пророчеством потрясена.

xvii

Глухой исполненный печали,
из зала в залу царь шагал –
тьнь жалкая в зеркальной дали
безмолвных и бесстрастных зал.
Блуждал он, глаз не поднимая,
ладони блеклых, узких рук
к вискам порою прижимая,
и кольца вспыхивали вдруг.

xviii

В восточной башне плакал кто-то:
душе седого звездочета
все край мерещился родной:
ограды белые Дамаска,
тьнь пальмы – бархатная ласка
в пустыне серо-голубой, –
и тамариксы, и мимозы,
миражей радужная ложь...
Катились старческие слезы

на недоконченный чертеж.

xix

В час обычного забвенья,
в молчаньи замкнутых ночей
порою тайный чародей
к нам высылает сновиденья.
Сознание – словно под водой
глубокой, в дымке изумрудной;
нам снится праздник многолюдный,
туманный, бурно-молодой,
и знаем мы, что это ложный
короткий сон и что во сне
все, все дозволено; что можно
не думать о грядущем дне;
законами людскими, честью,
обычаем – пренебрегать;
врага со смехом настигать,
роскошной упиваться мезтью;
грозить безумно Божеству,
храм в бездну сталкивать со ската;
овладевать невестой брата,
недостижимой наяву...

xx

И ту свободу без запрета,
ту силу – каждый ощутил,
когда невинного поэта
напев дразнящий опустил
свои блистательные крылья
на город жалобной тоски,
предчувствий траурных, бессилья...

xxi

Придворные – все старики
с атласно-белыми бровями, –
шурша, как совы, подошли
к царю с дрожащими словами:
«Царь, всюду ропот. Подождли
вчера солдаты синагогу.
На неотпльвшем корабле
восстанье. Знойную тревогу
разносит ветер по земле.
Чернь беспокойна. Слуги наши,
не отворачивая глаз,
глядят с усмешкою на нас,
а по ночам воруют чаши –
награды царские. Народ,
на перекрестках собираясь,
шумит, и, громко разгораясь,
напев кощунственный растет!»

xxii

«Оставьте... – молвил царь устало. –

Смиренье, бунт – не все ль равно,

когда нам времени так мало

служить иль властвовать дано?»

Переглянулись, замолчали, –

и царь, как прежде, зашагал –

тень жалкая в зеркальной дали

холодных, золотистых зал.

И в тот же вечер, в пышной спальне,

таясь, печален и один,

глухие песни, ропот дальний,

услышал старый властелин.

И полый жемчуг с горьким ядом

прижал он к языку, поник,

обняв пунцовый стул... и рядом,

в высоком зеркале, двойник,

с лицом безумным, перегнувшись,

сполз на ковер, и в полутьме

сверкнули кольца, содрогнувшись

на зашуршавшей бахrome

блестящей шелковой подушки,

да скрипнул пол средь тишины...

xxiii

Меж тем округлый край луны
уж выступал из-за опушки
далекой рощи. Небосвод
бледнел. По лестнице змеиной
всходил на башню звездочет...
Воображаемой картиной
он был томим, и тяжело
дышал, и вспоминал уныло,
что двадцать семь ночей прошло
с тех пор, как страшное светило
в последний раз он наблюдал
и смысл его предугадал.

xxiv

Скитаться по небу ночному,
по голубому, ледяному –
без ног, без рук, но с головой
чудовищной, стеклянно-белой, –
давно уж бесу надоело.
К тому ж на башне угловой
дворца, чернеющего стройно,
он жертвы крошечной своей
такой смешной, такой спокойной –
уж не видал в часы ночей.
И отвернулся он от башни,

забыл случайного врага
и принял облик свой всегдашний:
хвост песий, когти и рога.

xxv

А перед взором звездочета
теперь, туманна и нежна,
как девственное сердце чье-то,
раскрылась прежняя луна.
Простер он руки, умиленный,
застыл со вздохом, как влюбленный,
вдруг различивший белый луч
руки, раскрывшей занавески;
и над землей, в жемчужном блеске,
узором мелких, нежных туч,
подобных перьям голубиным,
со всех сторон окружена –
струилась милая луна
по звездно-дышащим равнинам..

xxvi

Был снова строг и счастлив он.
В нем думы ясные воскресли
и свергли темный страх: «Не весь ли
чудесный мир теперь спасен?

И нужно ль сетовать отныне?
Уж не покоится на льдине,
коварно тающей средь волн
небытия сторожевого,
наш город царственный; он снова,
великих грез и смеха полн,
к луне потянется, прощенный...»

xxvii

Так думал он, и, восхищенный
лучистой нежностью небес,
он не приметил, как полез,
повис огонь пожара, словно
паук багровый, там, внизу,
на паутине крыш неровной.
Другой услышал бы грозу
нестройных песен, гул, удары,
могучий шум толпы – как вздох
прибоя тяжкого, – но старый
мудрец от радости оглох.
Вот тень его на башне четкой
исчезла, звонкою походкой,
с улыбкой детской, подобрал
полы, спускался он поспешно
меж круглых стен: да, да, конечно,
он опрометчив был, неправ;

сейчас к царю пойдет он, скажет:
царь, не тужи... Небесный свод,
как прежде, тих, и царь прикажет
гонцам порадовать народ!

xxviii

И вышел он на двор квадратный,
и, выйдя, замер: гул невнятный
из мрака хлынул; впереди
мелькали перья, копья, латы,
кривые тени... «Отойди,
безумье! – выбросив крылатый
рукав, воскликнул звездочет. –
Я весть несу!» Но крик упорный
его прервал: «Вот, братья, вот –
колдун заморский, ворон черный,
а мы, – мы мучимся, пока
над нами шутит он с Нечистым!»
И камень, пущенный со свистом,
в висок ударил старика...

xxix

И минул год, и ночью млечной,
прозрачной, снова на людей
решил взглянуть певец беспечный.

О песни огненной своей
и о пророчестве злосчастном
он в одиночестве забыл,
и видом города ужасным
мечтатель опечален был.

xxx

Кругом гремучие пожары
краснели. В городе самом,
меж светлым морем и холмом,
был ропот, шепот, праздник ярый.
Тут – оглушительная мгла,
там – выкрик пламени. Тут – ссора,
а там – убийство. Без разбора
сцеплялись голые тела
в книгохранилище громадном,
где пировали палачи,
монахи, женщины. В ночи,
на улицах, во мраке смрадном, –
что, что там рдело до утра –
вино ли, злобные глаза ли,
иль только искры от костра?
Бог весть! Во храмах псы лизали
окровавленный мрамор плит,
и человек освобожденный
так поступал, как повелит

зверь вождельня пробужденный...

(И лишь танцовщица одна
порою, глядя из окна
в лиловый сумрак, да на звенья
созвездий в сонной вышине,
полна внезапного сомненья,
дивилась маленькой луне,
такой же скромной, как бывало,
и смутно думала: как знать?
Но, звякнув бусами, опять
кого-то в губы целовала...)

xxxі

Так было... Город роковой,
огонь и мрак, уж неживой,
певец окинул грустным взором,
и поутру, и в тишине
к своим лесам, к своим озерам
вернулся с песней о луне...

xxxіі

За горем – горе: царь соседний
напал на падшую страну,
разбил с налета храм последний,
и в унижительном плену

угасло буйственное племя.
Несбережливо злое время –
и в наши дни на месте том,
в золотозвездном, юном поле,
меж серым морем и холмом,
поросшим вереском, в неволе
у строгой вечности лежат
глухие глыбы, и зажат
в какой-то щели куст цветущий,
и льется холод старины,
однообразный и гнетущий,
сквозь тень душистую весны.
Кой-где торчат еще упрямо
обломки рухнувшего храма,
чернея сухо над травой,
как обгорелые поленья.

xxxiii

Стремительные поколенья!
Потух, остыл их век живой.
Так стынет пламенная лава...
Забыта сладостная слава
их первых странствий, гулких битв,
и суеверные науки.
Умолкли песен и молитв
неповторяемые звуки,

и лишь волнует тишину,
цветы целуя, ветер плавный...
Там проезжал я, скиф бесславный, –
и вспоминал свою страну.

20–28. VI. 20

Крым

Назло неистовым тревогам,
ты, дикий и душистый край,
как роза, данная мне Богом,
во храме памяти сверкай.
Тебя покинул я во мраке:
качаясь, огненные знаки
в туманном небе спор вели
над гулом берегов коварных.
Кругом, на столбиках янтарных,
стояли в бухте корабли.
В краю неласковом скучая,
все помню, – плавные поля,
пучки густые молочая,
вкус теплых ягод кизилия.
Я любовался мотыльками
степными, – с красными глазками
на темных крылышках... Текла
от тени к тени золотистой,

подобна музыке волнистой,
неизъяснимая Яйла!

О, тиховейные долины,
полдневный трепет над травой,
и холм – залет перепелиный...
О, странный отблеск меловой
расщелин древних, где у края
цветут пионы, обагрят
чертополоха чешую,
и лиловет орхидея...
О, рощи буковые, где я
подслушал, Пан, свирель твою!

Воображаю грань крутую
и прихотливую Яйлы, –
и там – таинственную тую,
а у подножия скалы –
сосновый лес... С вершины острой
так ясно виден берег пестрый, –
хоть наклонись да подбери.
Там я не раз, весной дальной,
встречал, как счастье, луч начальный
и ветер сладостный зари...

Там, – ночью звездной, я порою
о крыльях грезил... Вдалеке,

меж гулким морем и горою,
огни в знакомом городке,
как горсть алмазных ожерелий,
небрежно брошенных, горели
сквозь дымку зыбкую, и шум
далеких волн и шорох бора
мне посылали без разбора
за роем рой нестройных дум!

Любил я странствовать по Крыму...

Бахчисарая тополя
встают навстречу пилигриму,
слегка верхами шевеля.
В кофейне маленькой, туманной,
эстампы английские странно
со стен засаленных глядят.
Лет полтораста им, – и боле:
бои былые, – тучи, поле
и куртки красные солдат.

И посетил я по дороге
чертог увядший. Лунный луч
белел на каменном пороге.
В сенях воздушных капал ключ
очарованья, ключ печали,
и сказки вечные журчали
в ночной прозрачной тишине,

и звезды сыпались над садом.
Вдруг Пушкин встал со мною рядом
и ясно улыбнулся мне...

О, греза, где мы не бродили!
Дни чередились, как стихи...
Баюкал ветер, а будили,
в цветущих селах, петухи.
Я видел мертвый город: ямы
былых темниц, глухие храмы,
безмолвный холм Чуфуткалэ...
Небес я видел блеск блаженный,
кремнистый путь, и скит смиренный,
и кельи древние в скале.

На перевале отдаленном
приют старик полуслепой
мне предложил с поклоном сонным.
Я утомлен был... Над тропой
сгущались душные потемки.
В плечо впивался мне котомки
линячий, узкий ремешок.
К тому ж, над лысиною горной,
повисла туча, словно черный,
разбухший, бархатный мешок.

И тучу, полную жемчужин,

проткнула с хохотом гроза, –
и был уютен малый ужин
в татарской хижине: буза,
черешни, пресный сыр овечий.
Темнело. Тающие свечи
на круглом низеньком столе,
покрытом пестрой скатереткой, –
мерцали ласково и кротко
в пахучей, теплой полумгле.

И синим утром я обратно
спустился к морю по пятам
своей же тени. Неопратно
цвели на кручах, тут и там,
деревья тусклые Иуды.
На камнях млели изумруды
дремотных ящериц. Тропа
вилась меж садилов веселых.
Пел ручеек. На частоколах
белели козьи черепа.

О заколдованный, о дальний
воспоминаний уголок!
Внизу, над морем, цвет миндальный,
как нежно–розовый дымок,
и за поляною поляна,
и кедры мощные Ливана –

аллей пленительная мгла
(любовь любви моей туманной!),
и кипарис благоуханный,
и восковая мушмула...

Меня те рощи позабыли...
В душе остался мне от них
лишь тонкий слой цветочной пыли...
К закату листья дум моих
при первом ветре обратятся, —
но если Богом мне простятся
мечты ночей, ошибки дня,
и буду я в раю небесном, —
он чем-то издавна известным
повеет, верно, на меня!

Лондон

<30 июня 1920>

Электричество

1

В Милете был я встарь мечтателем примечен
на липком янтаре. Я призрачен. Я вечен.
И мной вооружен подводный черный див,
мной посылается сияющим деревьям
стремительная смерть. Я прикасаюсь к девьим

волнистым волосам. Я шелест. Я извив.

2

Я – сладострастие дней майских, дней махровых:
над миром, в мороках удушливо-лиловых
вдруг иступленными я крыльями всплесну;
услышишь ты мой бред, рокочущий за тучей;
ответят мне леса; промчится дождь гремучий,
зеленокудрую преследуя весну.

3

А ночью летнею, безгласный соглядатай,
порой я улыбнусь над дальнею, зубчатой,
дубравой, распахнув двустворчатую тьму,
чтоб светом окропить ресницы спящей нивы:
во сне, в летучем сне, изгнанник сиротливый
так улыбается былому своему.

4

За веком веет век. Однажды, грозным богом
я встал, где буревал дымился, на пологом
озерном берегу: там листья вокруг меня
витали, вялые, шурша в полудремоте,
и ворон реющий дивился позолоте

и злобной пестроте восславленного пня.

5

И скиф благоговел. Я царствовал жестоко;
но вытянулась тень крестильницы высокой
и занавесила кровавый истукан.
Как прежде, в облаках блистал я и резвился.
Плыл тихо грузный мир. Я богом вновь явился;
сошел – и расцвелит коснеющий туман.

6

Скользнув над хмурыми земными городами,
в стеклянные сердца, висящие рядами
вдоль их расчисленных, излучистых путей,
на выгнутых мостах, в воде прозрачно-черной, –
в те мертвые сердца вложил я, чудотворный,
мечту, сплетенную из сорванных лучей.

7

Над морем заиграл, как солнце в изумруде,
мой свет сторожевой. Меня призвали люди,
и многому с тех пор людей я научил...
Колеса дали мне: стал всякий путь короче.
Врачует немощных лазурь моя. Рабочий

полунасмешливо мне труд свой поручил.

8

Вот струны вдоль дорог. Мерцанье звуковое:
чу! Даль–разлучницу обманывая, двое
друг с другом говорят; их слезы, что роса
на розных венчиках, – но верен, безнаветен,
как ветер, я ношу невидимый их цветень, –
весть и ответствение, – чрез горы и леса.

9

И это все, приметъ, лишь прихоть чародея,
влюбленного в звезду! Вращаясь, холодея,
чредою будет мир из света плыть во тьму;
за поколеньями склонятся поколенья;
быть может, я свои умножу проявленья,
иносказательно понятные уму, –

10

но лик мой будет скрыт. Таюсь, неуязвимый.
Золотоокие мне служат серафимы...
В моем пронзительно–лазореvom раю,
неописуемым огнем переливаясь,
блистая трепетно и радостно свиваясь,

я словно гралица безгранная стою!

11

И в рай мой снидут все бродившие по склонам
туманным бытия. Над ними, с пышным звоном,
я крылья зыбкие раскину, и тогда
их чувство обоймет полета ликования, –
как если б дрогнула вся бездна мироздания
и в бездне каждая запела бы звезда,

12

как если б действенный, мгновенный трепет некий, –
восторга полнота – продлился бы навеки,
все возрастающий; и в этом ярком сне
им будет грезиться, что где-то в полдень синий
на глади мраморной блаженный блеск павлиний
безмерно ширится, струясь по белизне.

Закончено 9–XII–20.

Кембридж – Груневальд

На севере диком

...стоит одиноко

На голой вершине сосна.

Лермонтов

1

Остров мой хмурый стоит, как в пустыне глухая могила.

Жуткая вешняя ночь. Огневые разрывы. Бушует
буря. То мчатся, ликуя, то бьются челом об утесы
грешные волны.

Утром на тихий и пасмурный берег
я по тропе каменистой спустилась. Там я любила
грезить о сказочной встрече. Душу мою затуманить
злобным дыханьем горбунья—судьба еще не успела.
Было семнадцать мне лет. Соленый и сладостный ветер
в губы меня целовал, и я гулкую песню пела:

Посети мой остров темный...

Ты запомнишь день сырой,
два—три ландыша в овраге,
ропот влаги под горой.

Ждать тебя на берег мутный
выйду утром, и вдали —
да восстанут из тумана
великаны — корабли.

Это всё твои подарки:

птицы яркие, цветы,
грозди лалов и жемчужин, –
ты мне нужен, только ты!

Полюби мой остров дивий!
Дай в заливе отдохнуть
кораблям золотозарным
и о царстве позабудь!

Пела, потом приумолкла и шла, окруженная ветром.
Пасмурно, пасмурно было... Одни только лужи светились
на лукоморье унылом... Тяжелые, тусклые волны
после ночного разгула задумались важно, и тучи,
сумрачно–сизые тучи, низко над ними стояли,
будто угрюмая рать, на бой опоздавшая... Чайки,
в сумраке этом кружась, – как снежинки, блистали и гасли...

И подивилась я диву: лежал на галечнике влажном
темный обломок, бревно с полустертой резьбой по краю,
а на песке серебристом были следы голубые
голых ступней.

Отгремевшее море оставило много
раковин – крупных, лунных, полных волшебного гула,
полных цветного тумана; одну приложила я к уху,
локон холодный откинув, и слышу, и слышу как будто
голос, что пленная птица, чудный тоскующий голос

в лунке жемчужной печалится.

Вздрыгнула я, огляделась:

тучи сизели над морем, искрились дальние чайки,
сонно вращалась волна; и за мной, об утес прислонившись,
словно распятый, стоял человек незнакомый, в лохмотьях
черных, как листья растений морских, и с кровавою раной
на обнаженном плече... И к нему подошла я поспешно:

«Кто ты, нежданный? Отколе? ق.ق.»

Молча на тусклое море

он указал, а потом с утомленной улыбкою руку
дважды к губам прижал...

«Ты голоден, гость безглагольный?»

На языке непонятном что-то сказал он протяжно...

Взгляд его был как напев, звенящий среди ночи глубокой...

«Следуй, бездомный, за мной...»

И вверх по тропе каменистой,

между оскаленных скал и терновых кустов коварных,
вместе мы тихо пошли, и внизу, под горою, осталось
море, дремотное море, сулящее царства и бури,
море, да ветер, как жизнь моя, горький, и свежий, и вольный,
море, да ветер, да чайки, блестящие бегло по склонам
туч, угрожающих издали... – чайки, и ветер, и море...

2

Странник у нас поселился в сгорбленной дымной лачуге.

Братьям моим, рыбакам черногрудым, могучим и грубым,

он помогал расставлять по взморью мережи и часто
с ними же ночью скитался в тумане, влажном и жадном...
Только неловок он был, как недавно ослепший, и пальцы,
тонкие пальцы его – то на бурой хватке вёсельной,
то в склизкой зыб<и> сетей, – белизной
неуместной мерцали.

Грозные братья мои, раздувая презрительно ноздри,
острые щуря глаза, молчаливо за ним наблюдали –
и вдруг, зубами блеснув, проклинали задержку иль промах.

Страннику терпко жилось: наш обычай,
привычки, законы,

быстрый гортанный язык – все было ему непонятно.

Я поучала его: как часто на глади песчаной

белым витым черепком чертила я месяц двурогий,
домик с дымящей трубой, кита водометного, лодку,
мальчика с длинными пальцами и выкликала названья!

Он же качал головой, улыбаясь печально и чудно, –
точно ребенок ему предлагал пустую забаву...

Я полюбила его любовью глухой, суеверной;

ночи мои расцвечало зарево снов несказанных;

дни проплывали, как тени ветрил... Когда он так тихо,

тихо глаза поднимал, мне чудилось – шум отдаленный

крыльев, смутные песни... Нет, обо мне он не думал...

Ветра и моря не слышал... Он думал о чем-то безмерном,

жутком и нежном, как даль; и лицо его странно светилось,

словно он с мачты высокой видел страну золотую...

Горд, своеволен он был. На досугах всегда он чуждался
братьев моих невеселых, сверстников их бесшабашных,
девушек бледных, крикливых, как чайки, печальные чайки,
да сонных, злых стариков с глазами как мокрые камни...
Помню я праздник ночной...

В просторной прибрежной пещере
движенье, гул и огонь; по стенам слезящимся, черным,
зáплески пламени рдеют... Стучат деревянные чаши,
полные браги мерцающей; хохот гудящий, изгибы
темных затылков, локтей, при свете багрово-летучем;
девичий жалкий напев, угловато-унылая пляска...

Поодаль странник сидит, обхватив колена руками.

Тени дрожат на руках – совсем кружевные запястья...

«Что ты не пьешь, не поешь? – задорно кричит бородатый
хриплый хмельной великан. – Иль ты брезгаешь нами,
тщедушный?»

«Полно, он крепче тебя!» – кто-то шутит, и все ему вторят.

Тот ослабляется грозно: «Дыхом его опрокину!»

«Ну-ка, бурлан, позабавь!»

(Меж тем, безучастный и вялый,
странник на тени глядит, на багровые зыбкие пятна.)

Смех затаили, ждут... Великан к нему вдруг подходит
и, неуклюже нагнувшись, прямо в лицо ему дует,
мощно и шумно; а он, узкоплечий такой, тонорукий,
молча встает, побледнев, как быстрая пена морская,
и точно взмахом крыла сшибает с ног забияку...

Помнится, гам поднялся. Благодушно хвалили, дивились.

Странник плечами повел и вышел из шумной пещеры.

Стало в ней душно и мне; я нагнулась, легко проскользнула.

Черный раздвинулся свод; мне навстречу, тиха и безумна,

выплыла лунная ночь и, вздохнув, унесла, закружила.

Призрачно берег белел; безмолвному грезилось морю

море небесное; скалы синели; неслась я неслышно, –

словно самые звуки растаяли в лунном сиянии...

Вдруг я увидела друга, и ночь, как волшебница, скрылась,

нет – превратилась в единый задумчивый

луч, прильнувший

к бледному лбу человека недвижимого. Ожили звуки;

выслало море волну, и тихо волна возвратилась;

странник ко мне повернулся, узнал, чуть ресницы блеснули.

Нет, он меня не любил! Я у ног его села, и снова,

снова нахлынула ночь голубая; сложила я руки,

старую, старую песню огромной луне подарила:

Хоть и рядом сидим, – ты один, я одна...

(Серебристая в море вскружилась волна.)

Ты безгласен, и бледен, и думой далек.

(Просияв, наклонясь, пролилась на песок.)

Где блуждает, скажи, твоя туча – душа?

(Разостлалась волна, сиротливо шурша.)

Ты не хочешь понять – я сказать не могу!

(И волна умерла на пустом берегу.)

Песнь моя улетела, исчезла. Странник, не глядя,
волосы тронул мои ладонью холодной: казалось,
радуясь звонкому дару, луна говорит мне: спасибо...

З

Дни протекали за днями. Уж ветер опрашивал ветви:
нет ли янтарных листков? И бредину в лиловом овраге
мучил, и мучил березку в нашем саду убогом.

Ах, как он стал тосковать, изгнанник таинственный! Тучи
тяжко над морем влеклись, и глядел он все чаще, все чаще
с бледной песчаной косы в равнодушную даль – не видать ли
паруса, белого друга?

А я – заклинала я ветер!

Выйди, взыграй, волновой! Отклони корабли роковые!

О, не пускай их сюда! Занавесь беспросветным туманом
остров задумчивый мой, чтоб со мною б остался навеки
царь безвестного края!

Мольбам моим, скорбным и страстным,

ветер лукавый не внял...

Помню, в тот день я проснулась

поздно, и в черный платок завернулась, и вышла лениво.

Пасмурно, пасмурно было; к морю я шла и бессвязно

думала все об одном, о любви своей пламенно–пленной:
ключ бы найти золотой – пронзительно–яркое слово!
Я очутилась у моря, и вдруг мое сердце скатилось
в бездну. Вон там старший брат мой
вволакивал лодку на сушу,
а там, далече, далече, серебряный узился парус.
Молвил спокойно рыбак, на плечо блестящие весла
вскинув: «Ты опоздала... Купеческий пестрый кораблец
друга увез твоего; торопил он меня: не успеем,
ах, не успеем подплыть! Я смеялся», – и, крепко ступая,
брат удалился. А там, между морем и мороком, парус
вспыхнул в случайном луче и потух – навеки...

Прощай же!

Светлый, безмолвный скиталец. Не чуяли дольные души
гордой твоей красоты, – но и ты, распахнула ль ты двери,
тихие двери своих очарованных черных чертогов,
полных сиянья, и трепета, и откровений крылатых?

Ты не желал! Ты молчал, хоть и двигались
губы, – созвучья

были темны, как слепца сновиденья.

Быть может, о странник,

ныне, в пустыне печали, не только себя я жалею.

Если б, ах, если б меня ты душою заметил, быть может,
море бы вдруг превратилось в ограду алмазную, чайки –
в легкие радуги, ветер – в напев непрерывной улады!

Царь безвестного края, – быть может, заветное счастье
рядом с тобой прошло, а ты хоть и слышал, – не понял...

21–XII–20

Груневальд

Петербург

Так вот он, прежний чародей,
глядевший вдаль холодным взором
и гордый гулом и простором
своих волшебных площадей, –
теперь же, голодом томимый,
теперь же, падший властелин,
он умер, скорбен и один...
О город, Пушкиным любимый,
как эти годы далеки!
Ты пал, замученный, в пустыне...
О, город бледный, где же ныне
твои туманы, рысаки,
и сизокрылые шинели,
и разноцветные огни?
Дома скопились, почернели,
прохожих мало, и они
при встрече смотрят друг на друга
глазами, полными испуга,
в какой-то жалобной тоске,
и все потухли, исхудали:
кто в бабьем выцветшем платке,

кто просто в ветхом одеяле,
а кто в тулупе, но босой.
Повсюду выросла и сгнила
трава. Среди улицы пустой
зияет яма, как могила;
в могиле этой – Петербург...

Столица нищих молчалива.
В ней жизнь угрюма и пуглива,
как по ночам мышиный шурк
в пустынном доме, где недавно
смеялись дети, пел рояль
и ясный день кружился плавно, –
а ныне пыльная печаль
стоит во мгле бледно-лиловой;
вдовец завесил зеркала,
чуть пахнет ладаном в столовой,
и, тихо плача, жизнь ушла.

Пора мне помнится иная:
живое утро, свет, размах.
Окошки искрятся в домах,
блестит карниз, как меловая
черта на грифельной доске.
Собора купол вдалеке
мерцает в синем и молочном
весеннем небе. А кругом –

числа нет вывескам лубочным:

кривая прачка с утюгом,
две накрест сложенные трубки
сукна малинового, ряд
смазных сапог, иль виноград

и ананас в охряном кубке,
или, над лавкой мелочной,
рог изобилья полустертый...
О, сколько прелести родной
в их смехе, красочности мертвой,
в округлых знаках, букве ять,
подобной церковке старинной!
Как, на чужбине, в час пустынный
все это больно вспоминать!

Брожу в мечтах, где брел когда-то.

Моя синеющая тень
струится рядом, угловато
перегибаясь. Теплый день
горит и ясно и неясно.
Посередине мостовой
седой, в усах, городской
столбом стоит, и дворник красный
шуршит метлою. Не горя,
цветок жемчужный фонаря,
закрывшись сонно, повисает

на тонком, выгнутом стебле.

(Он в час вечерний воскресает,

и свет сиреневый во мгле

жужжит, втекая в шар сетистый,

и мошки ластятся к стеклу.)

Торчит из будки, на углу,

зеленовато-водянистый

юмористический журнал.

Три воробья неутомимо

клюют навоз. Проходят мимо

посыльный с бляхой, генерал,

в носочках лунных фронт дебелый,

худая барышня в очках;

другая, в шляпе нежно-белой

и с завитками на щеках,

чуть отуманенных румянцем;

газетчик; праздный молодец;

в галошах мальчик с пегим ранцем;

шаров воздушных продавец

(знакомы с детства гроздь цветная,

передник, ножницы его).

Гляжу я, все запоминая,

не презирая ничего...

Морская улица. Под аркой,

на красной внутренней стене

бочком торчат, как гриб на пне,

часы большие. Синью жаркой,
перед дворцом, на мостовой
сияют лужи, и ограда
в них отразилась. Там, вдоль сада,
над обольстительной Невой,
в весенний день пройдешь, бывало:
дворцы, как призраки, легки,
весна гранит околдовала,
и риза синяя реки
вся в мутно-розовых заплатах.
Два смуглых столбика крылатых
за ней, у биржи, различишь.
Идет навстречу оборванец:
под мышкой клетка, в клетке чиж;
повеет Вербой... Влажный глянец
на листьях липовых дрожит,
со скрипом жметя баржа к барже,
по круглым камням дребезжит
пролетка грязная, – и стар же
убогий ванька, день-деньской
на облучке сидящий криво,
как кукла мягкая... Тоской
туманной, ласковой, стыдливой,
тоскою северной весны
цветы и звуки смягчены.

Да, были дни, – но беззаконно

сменила буря тишину.
Я помню, город погребенный,
твою последнюю весну,
когда на площади дворцовой,
махая тряпкою пунцовой,
вприсядку лихо смерть пошла!
Уже зима тускнела, мокла,
фиалка первая цвела,
но сквозь простреленные стекла
цветочных выставок протек
иных, болезненных растений
слащавый дух, подобный тени
блудницы пьяной, и цветок
бумажный, яростный и жалкий,
заместо мартовской фиалки,
весной искусственной дыша,
алел у каждого в петлице.
В своей таинственной темнице
Невы крамольная душа
очнулась, буйная свобода
ее окликнула, – но звон
могучий, вольный ледохода
иным был гулом заглушен...

Неискупимая година!

Слепая жизнь над бездной шла:
за ночью ночь, за мглюю мгла,

за льдиной тающая льдина...

Пьянел неистовый народ.

Безумец, каторжник, мечтатель,
поклонник радужных свобод,
картавый плут, чрево вещатель, –
сбежались все; и там и тут,
на площадях, на перекрестках,
перед народом, на подмостках
захлебывался бритый шут...

Не надо, жизнь моя, не надо!

К чему их вопли вспоминать?

Есть чудно–грустная отрада:

уйти, не слушать, отстранять
день настоящий, как глухую
завесу, видеть пред собой
не взмах пожаров в ночь лихую,
а купол в дымке голубой,
да цепь домов веселых, хмурых,
оливковых, лимонных, бурых,
и кирку, будто паровоз
в начале улицы, над Мойкой.
О, как стремительно, как бойко
катился поезд, полный грез, –
мои сверкающие годы!

Крушенье было. Брошен я

в иные, чуждые края,

гляжу на зори через воды
среди волнующейся тьмы...
Таких, как я, немало. Мы
блуждаем по миру бессонно
и знаем: город погребенный
воскреснет вновь, все будет в нем
прекрасно, радостно и ново, –
а только прежнего, родного,
мы никогда уж не найдем..

<июль 1921>

Olympicum

Стихии вечной выраженья,
тебя, о музыка движенья,
и, мышцы радостные, вас,
усладу сил, послушных воле, –
я в этот век огня и боли,
я в этот хищный, черный час
в стихах прослаблю своенравных, –
тебя, блаженство взмахов плавных,
и, мышцы радостные, вас!

Поговорим сперва о круге...

Земля, коль верить морякам,

шарообразна. Воды, вьюги,
и дым, плывущий к облакам,
и в теле кровь, и звезды неба, –
все, все кружится; человек,
дай волю, шарики из хлеба
катал бы молча весь свой век.

Под бирюзовым облым сводом
вращаться медленно народам
круглоголовым суждено,
и год вращается за годом,
в саду алеет круглым плодом
иль сеет круглое зерно.

И шаровидны в этом мире
все наслажденья, тени все,
и самый Крест – как бы четыре
луча в незримом Колесе.

Когда на клавишах качает
тоскливый гений яркий сон,
он на листе за звоном звон
кружочком черным отмечает.

Когда струятся к высоте
искусства райские обманы,
нам в каждой краске и черте, –
в изгибах туч, в бедре Дианы, –
округлость мягкая мила.

Мы любим выпуклые чаши,
колонны, грозди, купола, –
все круглое; и если в наши
глухие годы, годы зла,
мечта, свободней, но угрюмей,
сбежала с благостных холмов
в пределы огненных углов,
геометрических безумий, –
то все же прежних мастеров
забыть не смеем мы, не можем,
хоть диким вымыслом тревожим
и ум и зренье; там и тут,
на сводах жизни нашей тесной,
пленяя плавностью небесной,
мадонны–лилии [sic!] цветут...

И рой утех, как в улье пчелы,
в тебе живут, упругий круг,
и ты – мой враг, и ты – мой друг
в борьбе искусной и веселой.
Вот, сокрушительный игрок,
я поднимаю локоть голый,
и если гибок и широк
удар лапты золотострунной –
через сетку, в меловой квадрат,
перелетает блестящей лунной
послушный мяч. Я тоже рад

среди плясунов голоколенных
носиться по полю, когда,
вверху, внизу, туда, сюда,
в порывах, звучно–переменных,
меж двух прямоугольных луз
маячит кожаный арбуз.

Седой и розовый британец,
историк тонкий, не шутник,
порассказал мне, как возник
ожесточенный этот танец:

В старинном городке резном,
где удлинённым перезвоном
куранты ноют перед сном,
в краю туманном и зеленом,
где сам под кленами я жил,
когда–то кто–то заслужил
самозаконный гнев народа;
не знаю – кто: быть может, – чорт
в убогом образе уroda,
или воркующих реторт
пытливый друг, алхимик хилый;
быть может, отрочеству милый
разбойник, стройный удалец,
таившийся в лесу дубовом,
а то – кощунственный мудрец,

умы испугнувший Богом новым, –
не знает летопись; но, словом,
его связали и в пыли
по переулкам повлекли.

И он на площади квадратной,
среди торжествующих зевак,
был обезглавлен аккуратно,
как исполинский мягкий мак.
Зашили голову злодея
в округлый кожаный мешок,
палач же – славная затея! –
мешку тугому дал пинок:
мешок на площадь с плахи – скок!
Понравилось... Народ веселый
загрохотал, и сотни ног
тут подхватили мяч тяжелый.
Игр<и>вый, грубый городок
разбился вмиг на две ватаги:
одна, исполнена отваги,
стремилась мяч загнать в прудок,
а та, не менее упряма,
избрала целью двери храма.
С потоком вражеский поток
сшибался в узких переулках,
и много было криков гулких,
разбитых лбов, разбитых ног;

а после тощие собаки
лизали камни до утра..
Вращался мир. Из дикой драки
возникла стройная игра.

Вращался мир, и век за веком,
по воле чьих-то верных рук,
и человек за человеком
другим доказывал, что круг
не только детская забава, –
в нем спит волшебница. Пора!
Как песнопенье, величава,
как сладострастие, остра, –
из содрогнувшегося круга
в пыли родится Быстрота,
моя безумная подруга,
моя зазывная мечта!

В совиной маске, запыленный,
в гремящей мгле полулежу,
и руль широкий, руль наклонный,
как птицу чуткую, держу.
Плывите, звезды, над лугами!
Дорога белая, беги!
Дрожащий обод – под руками,
а под ступнями – рычаги..
И мощно-трепетной машины

рокошет огненная грудь,
как бы на бешеные шины
прямой наматывая путь...
И быстрота ее упруга...

Кусты шарахаются прочь...
Из мира тяжкого, из круга,
из вира вырываюсь в ночь!
В ночь огневую, где усилья
божественно–сокращены...
О, дай мне крылья, дай мне крылья,
мне крылья, Господи, нужны!

Но чу! Средь бархатного грома
внезапно звякнул перебой,
как отрицанье... Что с тобой,
мой зверь волшебный? Но истома
его сковала; он затих;
застыли медленно колеса...
Ночуй теперь в тени откоса,
под хитрым взором звезд немых!

Иное помню... Ветер Божий,
о, ветер песенный, а все же
мы встретились лицом к лицу!
День зимний помню, синий, хрупкий...
Толстушка–елка в белой шубке

прильнула к самому крыльцу,
где в каждом ромбе рам оконных
есть по цветному леденцу.
Как шелк лазурный – тень склоненных
немых ветвей. Волшебно спит
пушистый мир в алмазной люльке.
Под крышей искрятся сосульки,
и гололедицу кропит
на ступенях песочек рыжий...

Какие сны, какие дни!
Вставай! Фуфайку натяни,
 вступи на липовые лыжи
и, льдисто–липкие ремни
скрепив потуже на запятках,
стремглав по насту скатов гладких
скользи! В площадку перейдет
уклон, площадка оборвется,
и с края белого взовьется
крылатый лыжник: легкий взлет,
воздушно–дивное движение, –
и он стоймя на продолжение
крутого склона упадет...

Полет, полет! Не оттого ли
с тех пор я полон тайных сил,
что в этот миг блаженной воли

я неба синего вкусил?
Простор равнины белозарной
я на лету обзирал:
избенки видел, дальше – вал,
столбы, как ландыши...
Товарный
там поездочек выплывал
из-под картонного навеса;
за ним – березового леса
жемчужно-розовый пушок...
Как высь чиста, как мир широк!
Как нежно Божье вдохновенье! ق.ق.
Раскинув руки, я повис,
распятый в воздухе... Мгновенье –
и вновь я скатываюсь вниз.
Но есть и глубже упоенье...

Кто там по зелени, вдали,
пронесся, легкий и лучистый,
и отделился от земли,
как звук порывистый и чистый,
рукою сорванный со струн?

Еще был вешний вечер юн.
Сияла мурава сырая.
Из полутемного сарая
я белый выкатил летун...

И влез, уселся я, и сладкий
подкрался холод, сердце сжав.
Готово! Раскачнулся гладкий,
могучий винт, и, пробежав
по бархату пустого поля,
вознесся он, мой раб, мой бог!

О, грохот, рокот, ропот, вздох,
взмах – и восторженная воля.

Внимая радостным струнам,
по перламутровым волнам,
в узорах блеска небывалых,
из звонких вырвавшись оков,
я плавал среди больших и малых,
бледно–лимонных, бледно–алых,
бледно–лиловых облаков.

В вечерний час очарованья
они, как Божьи корабли,
как нежные благоуханья,
как песни райские, текли.

Я с ними заживо сливался,
касался перышек цветных,
нырял, блистательно взвивался,
блаженно погружался в них.

И удалялся я от нищей,

нечистой пристани людской:
там, подо мной, земное днище
лежало шахматной доской.
И крыши, крошечные крыши,
и площади я видеть мог,
а выше, выше – только Бог,
свобода, ветер! Выше, выше,
мой ослепительный летун,
взвивайся, трепетно–лучистый,
как звук, порывистый и чистый,
в восторге сорванный со струн!

Душевных взлетов отражение,
тебя, о музыка движенья,
услада плавной быстроты,
я славлю... Радовала ты
мое ликующее тело:
оно звенело и летело,
как дух, свободное на миг,
и в этот миг необычайный
стиха властительные тайны
я упоительно постиг!

15–IX–21

Солнечный сон

Сказка

...Снились<я> мне только звуки.

Пушкин

i

Лениво перелистывает ветер
душистые деревья, и Нимфана,
воздушная, в шафрановых шелках,
еще стоит на лестнице прохладной,
спадающей, как мраморный поток,
в журчащий сад. Ивейн уехал... В сердце
еще стучит глухой и нежный топот
его коня. Ивейн благогове<й>ный
так целовал невесту на прощанье,
что кровь ее дивилась; а теперь,
на сгибах рук и на ключицах голых
вспоминанья этих поцелуев
остались, как незримые запястья
и тающие ожерелья... Ветер
без мысли перелистывает сад...

Потом она вернулась в дом, ступая
легко по шашечнице плит звенящих,
расплакалась, комочком золотистым
свернувшись среди подушек кружевных,
а через миг, как девочка, вскочила

и принялась, сквозь слезы улыбаясь,
дразнить лиловой веточкой изюма
глазастую седую обезьянку.

Зачем Ивейн пустился в путь далекий,
на сонный юг, в пылающую пыль?
Не воин он и не купец. Он едет
с таинственной целью... Вот что было:
его король, старик пушисто-белый,
завел с чернородым королем
страны чужой торжественную тяжбу;
спор длился год, другой; на третий оба
запутались. Казалось, быть войне;
но короли ценили выше славы
покой страны; и вот чернородый
простой и верный выход предложил:
«Ты, – говорит, – пришли, сосед, в мой город
хитрейшего из шахматных бойцов:
сразимся с ним. Десятая победа
решит, кто прав. Согласен?»

Игроков

тогда собрал король седой – и старых
и молодых, – всех лучше был Ивейн.

И в Лаолян, далекий и ленивый,
приехал он и пышно принят был.
Он Лаолян пленил своей улыбкой,

да скромностью и скупостью движений,
да стройною учтивостью речей.

В условный час давался каждый вечер
безмолвный бой в глубокой темной зале:
во тьме торжественной, посередине,
был островок сиянья; выделяли
два пламени резной тяжелый столик,
где на квадратах, млечных и вишневых,
теснились шашки, выпукло блестя
кораллом и слоновой костью. Пальцы
в перстнях цветных порой перемещали
одну из них. Кругом во тьме широкой
придворные томились молчаливо.

И длился бой. Ивейн, спокойный с виду,
всех изумлял безумием изящных
своих ходов; король же, осторожный
в самой игре, противник был горячий:
обычную терял он величавость,
мял бороду густую в кулаке
да языком выщелкивал проклятья;
жемчужный пот стекал из-под короны.

Так вечером Ивейн в чужой столице
за своего сражался короля;
днем он бродил по сонным переулкам,

заглядывал в таинственные лавки,
завешанные бисером струистым,
и покупал там бусы иль кинжал.
Но как-то, в день лазурный, он, тоскуя,
поехал в степь, лежащую на юге
от города. Такое было солнце,
что конь его гривастый, вороной,
весь отливал лиловым зыбким лоском.

И ехал он, пока не потонули
за ним, в лучах, ограды Лаоляна
далекие. Тогда, сойдя с коня,
он лег в траву высокую, сухую,
горячую и, лежа так, стал думать
о счастье лепечущем своем,
о простоте и светлости Нимфаны.
В ее любовь, еще полунемую,
он верил, как в бессмертие души.
В ее глазах, зеленых, удлиненных,
как листья олеандра, были царства,
туманные. Она его любила:
он вспоминал, как гнался он за ней
в аллее, полной солнечного смеха,
как с ней читал в углу гостиной тихой,
где мать ее, шурша угрюмо платьем
и веером раскрытым, проплывала,
скучая и досадуя как будто,

что молодость сияет из угла.

Вокруг него тянулись к солнцу травы,
у самого виска его качалась
блестящая былинка: мотылек
на ней висел, как кружевной любовник
на лестнице шелковой. Пахло медом
и мятой. Пушинки проплывали,
жужжащие живые самоцветы
рождались в легких люльках лепестков.

И солнце исполинское глядело
в глаза цветов и превращало травы
в стремительные языки огня.
Оно Ивейну в сердце проникало,
по жилам растекалось и в сознание
вплывало, все пропитывало синью.
И мысли ослепительные плыли
и путались, как пятна огневые,
в аллее, там, где волосы Нимфаны,
распутавшись, губам найтись мешали
среди смеха запыхавшейся любви.
Так он лежал, раскинув томно руки.
Звенела ль кровь, обманывая слух,
иль есть в степях звенящие растенья,
но странное и сладостное чувство –
предчаянье необычайных чар –

в нем медленно росло. Он встрепенулся
и встал: кругом все та же степь пустая.
Прислушался: казалось, световое
дрожанье испарений травяных
переходило в звуки; и казалось:
блаженное жужжанье насекомых,
всплывая, превращалось в человечесье
гуденье; и казалось: ветер южный
чертил, чертил в пространстве изумленном
уверенные зодческие грезы...
И шел Ивейн, и слух его следил,
как лестницы, и ярусы, и кровли
из смутных звуков строились, из звуков
домашнего живого пробужденья...
Взглянул вокруг: все так же проступала
пустыня изумрудная, все так же
душа росы мерцала над травой...
Ивейн остановился, и, как будто
ослепший человек, чья память видит
при звуке образ, – слышал: восклицанья
дверей; мохнатый лай; крик петуха
пурпуровый; журчанье голубое
воды и скрип и звон бадьи о камень
колодца; лепетанье колокольцев;
стук плоский выбиваемых ковров;
шум утренний, прохладный и опрятный, –
и голоса, и шелесты прохожих.

И звуки проплывали сквозь него,
да, сквозь него, как будто он без плоти,
без веса был. Ему казалось мнимым
все явное: и тело, и одежда
на нем, и та душистая пустыня,
где он стоял, прислушиваясь к жизни
невидимой – но истинной, простой...

Сел на коня Ивейн, – неторопливо
он выехал из сказочного круга.
Шум города за ним стал утихать,
и он оглядывался – не видать ли
и вправду стены, кровли и деревья, –
но за собой он видел только степь
зеленую под знойной синей мутью.

И в Лаоляне, в переулке Чисел,
трех маленьких плешивых мудрецов
он растолкал; и равнодушный раб
повез их следом за конем Ивейна
в ныряющей тележке, запряженной
ослицей, в степь, и по пути все трое
уснули, рты разинув, как птенцы.
И вот опять, смыкаясь, всплыли души
стеклянных, и прохладно-полотняных,
и жестяных, и деревянных звуков;

и говор был, веселый и широкий,
и кто-то звал, и кто-то пел на башне
незримой, пел, как жаворонок в небе.
Ивейн взглянул на магов: те сидели
нахохлившись, смешно от солнца щурясь,
дивясь, зачем безмолвный этот всадник
сюда привел их, в степь немую, в степь,
где нет давно ни новых насекомых,
ни новых трав; а сумрачный повозчик
сгонял бичом слетавшихся слепней.

Год вечерел мечтательно и знойно:
в узорах лоз на склонах Лаоляна
уж созревал нагретый виноград,
благоухал и лопался на солнце.
На ягодах тяжелых, темных, были
рубиновые трещины, как раны
тончайшие от жадных губ любви, –
а в ягодах янтарных, удлинённых,
полупрозрачных, солнце чуть пугливо
сквозило, как в задумчивых глазах
у юных жен сквозит и светит мысль
блаженная о близком материнстве.

Лишь раз еще из этой яркой яви
в сон звуковой, в колдующую степь
вплывал Ивейн. Он смутно испугался...

Безумия пленительного призрака
почувствовал... И понял, что один
он одарен волшебным этим слухом.
Волшебного не терпит обычайность, –
так рассудив о чуде, он молчал.

А тут огонь душистый винограда
и золотые песни поутру,
а вечером узорное сражение,
а ночью сны: он близко видел плечи
открытые и узкий, золотистый,
чуть видимый пушок между лопаток,
и голову склоненную Нимфаны.

.....

Шестнадцать дней прошло со дня начала,
и восемь раз был каждый побежден.
Еще два дня – и по одной победе
воители прибавили себе.
Десятая решительной считалась.

Последний бой... Опять в глубокой зале
был островок сиянья – блеск резной
коралла и кости слоновой. Шашки
тяжелые – извиристо и сложно –
исподтишка друг другу угрожали.
Шла ровная и душная игра,
без выпадов... И вдруг Ивейн дал промах...

И, налетя, король с улыбкой жадной
снял пешки две, ферзем ударил в тыл,
воскликнул: «Шах!» Тесна была угроза,
и зрители, как пчелы, загудели,
толпясь вокруг. Ивейн смотрел и думал,
прикидывал... Затем спокойно отдал
одну ладью (веселые вельможи
шушукнулись), затем – ладью другую,
и тут король, дрожа от нетерпенья,
вновь грянул: «Шах!» Тогда Ивейн ферзем
пожертвовал, прочистил путь сокрытый
и пешкою ужалил короля;
тот отступил, подняв поспешно фалды,
и через ход в углу своем погиб.

В обратный путь, на родину, на север
пустился торжествующий Ивейн;
но, миновав ограды Лаоляна
и выехав на белую дорогу,
он вдруг почувствовал, что к сердцу будто
прильнула тень. Тогда цветистый повод
он так стянул, что хлопья легкой пены
вверх брызнули; в седле он обернулся
и, правую ладонью опершись
о конский круп, взглянул на юг и вспомнил
незримый город, сладостно зовущий –
там, далеко, в степи, за Лаоляном, –

но в тот же миг в смятении суеверном
он отогнал трепещущую мысль,
как бархатную бабочку мы гоним
из спальни, – и вдавил стальные звезды
коню в бока; а свежий ветер встречный
ему шепнул, что он – отчизны ветер –
опять, опять ему задует в спину
когда-нибудь...

Ивейн, приехав, сразу
явился к властелину своему
с отчетом полным, с чертежом победы,
с подписанными свитками. Король,
все выслушав, Ивейна плавно обнял
и бородою снежною коснулся
его щеки, чуть вспыхнувшей сквозь пыль.
А из дворца, взволнованный, веселый,
Ивейн по синим улицам знакомым
и чрез сады к невесте поспешил.
Стемнело! Листья пышно шелестели.
Он грезил: «Вот сейчас войду я к ней,
она поднимет голову от книги,
замрет на миг в воздушном изумлении
и вдруг как жаркий золотистый ветер
в объятья мне пахнет... А после, рядом...»
Тут черные деревья расступились
с поклонами и с шелестом приветным,

и впереди Ивейн увидел лунный
роскошный лоск на лестнице знакомой,
струящейся, как мраморный поток,
в лиловый сад; а в доме окна были
озарены, и музыки порывы
звучали там, и двигались по стеклам
пернатые и веерные тени.

«Войти ли мне? – Ивейн подумал. – Радость,
входящая не вовремя, бывает
похожа на непрошеную правду...

Там многолюдно, празднично, Нимфана
там весело: ей нравится кружиться
(чуть ложное веселье и кружение)
среди юношей, завидующих мне.

А я войду – и сердце постыдится
застыть при всех. Она заметит: гости
уже не те – <и> станет ей казаться,
что лишний я – нечаянный жених,
что я устал с дороги и скучаю,
что смотрят все с усмешкой на одежды
измятые и пыльные мои».

И в темноте он тихо улыбнулся,
не чувствуя ни мелочной досады,
ни ревности, и, возвратясь к себе,
тотчас уснул и видел сон веселый.

И день расцвел, и в полдень темно-синий,
когда Нимфана вышла в сад журчащий,
закручивая на ходу сухие,
пылающие волосы, внезапно,
под кедрами, где пятна солнца плыли
и путались, явился перед ней
Ивейн, – и пальцы выпустили гребень,
и пятна солнца в бархатной аллее
метнулись, закружились и слились.

ii

В осенний день, блестящий и тревожный,
в своем саду король белобородый
среди поздних роз сам выбрал и сорвал
пышнейшие и сам их подал с ясной
улыбкою Нимфане – на пороге
поющего и плещущего храма.

Но мать ее, холодная, прямая
в своем парчовом платье, напоследок

сказала ей: «Что толку в этих розах?

Они тлетворной ветрености учат.

Смотри, Нимфана, берегись: твой муж –
мечтатель, а мечтатели готовы
отдать жену за облако, за розу...

Вот твой отец покойный – тот другого

был склада: не питал он мыслей праздных
и не любил задумчивых лентяев,
играющих на лютне или краски
размазывающих в восторге детском.
Он честен был и тверд. Его советам
внимал король, мечтатель наш седой...»

Дни грянули веселые. Трубила
в летучих листьях шумная ловитва,
и было разноцветное круженье
по вечерам, в дворцовых залах з<я>бких,
и возвращенья поздние, и ночи
крылатые, и пробуждений смех.
Ивейн жену любил благоговейно,
он раскрывал скользящими губами
росистые слепые лепестки
ее светящего тела – осторожно
в ней солнце сокровенное будил.
И он таил свое воспоминанье
от всех людей, от самого себя;
молчал, молчал, стыдом священным скован,
но странные он ведал сновиденья.
А иногда, среди бесед сладчайших,
он затихал – как бы дивясь чему-то,
и щурился задумчиво... Все чаще
случалось так, и чуяла Нимфана

(хоть он умел так ласково смеяться),
что в нем растет тоскующая тайна,
и движется, и дышит – как прибой,
невидимо гудящий за оградой,
увитой жимолостью... Но молчала
Нимфана: ей казалось, что, начни
она его расспрашивать, – шутя ли
иль вдумчиво, с тревогой, все равно, –
Ивейн в душе почтет ее расспросы
за женскую извилистую ревность.

Но вот однажды (...розовела просадь
миндальная, и шалые дрозды
свист подняли неистовый...), однажды
Ивейн сказал: «Нимфана, вот узнал я
твою любовь, – теперь узнай мое
безумие...» И он, светло волнуясь,
поведал ей о городе незримом.

.....
«И если любишь ты меня, добавил
Ивейн, – да, если всей душой ты любишь
меня – тогда, я знаю, ты услышишь,
что мудрецы услышать не могли.
Поедем же, поедem же... подумай –
там жить – вдвоем... чтоб вместе слушать... хочешь?»

Его глаза, два солнечных прореза,

глядели в жизнь ее и обещали
даль, песни, дива... «Хочешь?» – повторял он –
и что могла она ответить? Разве
вода не озаряется, когда
все небо загорается над нею?
«С тобой, с тобой...» – отозвалась Нимфана.
Весна прошла. Осыпался миндаль,
и черные дрозды угомонились,
и близился условленный отъезд...
Раз поутру Ивейн вошел к Нимфане:
купец, седой и мягкий, гладил, зыблил,
показывал ей платье – световое,
текущее... «Ивейн, смотри, какая
живая ткань! – воскликнула Нимфана. –
Когда король опять нас позовет
к себе на пир, надену это чудо!»
Ивейн кивнул, потом заметил с тусклой
улыбкою: «Но ты забыла – завтра
мы уезжаем – к чудесам иным...»
Седой купец унес товар воздушный...

И в этот день, в последний раз, прощаясь
с деревьями, они спустились в сад,
сошли к пруду. Прощался с ними ветер.
Ивейн смотрел: сиял на влаге лебедь,
как ясного ваятеля виденье,
и вокруг него серебряная зыбь,

как музыка немая, расходилась...
Смотрела и Нимфана: лебедь шею
вдруг разогнул, повел блестящим клювом,
по цвету схожим с коркой апельсинной, –
со свистом растопырился, плеснул
растрепанными крыльями... «А завтра, –
подумала Нимфана, – я покину
и лебедя, и этот сад зеленый,
и белый дом – покину... для чего же?Е.Е.»
И в тот же миг Нимфана поняла,

что не услышит города в пустыне, –
и поняла, томительно взглянув
на светлого, безмолвного Ивейна,
что притворится слышащей и будет
лучисто лгать...

Бывает подвиг правды,
и труден он; но подвиг есть другой –
обмана: этот может быть труднее.

Звенел июнь, кузнечик голубой...
На площади, в ленивом Лаоляне,
два юноши болтали о невестах,
о новостях домашних и душевных,
о бороде курчавой короля...
«Слышал ли ты, – спросил один, – слышал ли,
что говорят? Тот тихий чужестранец,

что на квадратах шахматной доски
играет, как на струнах, – воротился
сюда, с женой».

«Да, как же, сам видал, –
сказал другой, – жена его прекрасна,
вся светится...»

«...И цвет ее волос?»

«Пожалуй, рыжий, если солнце может
быть рыжим... Но знаешь ли, что странно?

В пустыне поселились наши гости,
раскинули шатер в степи. Король наш
послал гонца, чертог им предлагая.
Гонец был – я, и, право же, занятно:
поверишь ли, мой друг, – они живут,
как пастухи, которые им носят
сыр ледяной и знойный хлеб. Один

такой пастух – горбун со лбом овечьим –
попался мне на полдороге, в балке,
где ключ журчал, и, жажду усладив,
о пришлецах мы с ним потолковали.
Он думает, что солнце их ушибло, –
и то сказать: приехал я, и, знаешь,
они в траве стояли и как будто
молились, – но молились, улыбаясь, –
и вздрогнули, когда я с восклицаньем
приветственным приблизился! Отшельник

задумчиво и мягко отклонил
подарок королевский... Странно было...»
Звенел июнь, кузнечик голубой...

Ивейн был счастлив... Сладостно ласкала,
послушливо ласкала, бессловесно
ласкала ты, Нимфана... А его
любовь подобна звездной ночи,
и явственней он слышал звуки жизни
невидимой в безмолвии и блеске
своей любви. Так ухо слышит чутко
тончайший стук в часы немые звездных,
возвышенных бессонниц. Был он счастлив.
Когда он с ней ступил впервые в круг
волшебный и спросил: «Ты слышишь?» –
волнуясь, словно спрашивал: «Ты любишь?» –
так радостно, так искренне–светло
ему в ответ Нимфана закивала.
И верил он, что не безумен, если
она его безумию причастна,
и весь он жил в незримом, все блуждал
из переходов в переходы звуков,

не видя трав, блестящих под ногой,
не видя солнца, льющегося с неба,
но чувствуя, что с ним его подруга.
По торопливым шелестам прохожих,

по зовам разноцветным продавцов,
по звону раскрываемых оконниц
себе составил он в своем сознании
(как некогда среди шахматных раздумий)
извилистый, отчетливый чертеж
невидимого города – всех улиц
и площадей; когда <же> отступал он
от этих улиц, чувствуемых слухом,
то над собою, в воздухе, тут ниже,
там выше, различал он чистый, легкий
треск половиц, и звон уютный чаш,
и детский плач, и нежные напевы, –
и к тем напевам он не мог подняться,
хоть лестницы он чуял, слышал стук
шагов, бегущих в небо; только снизу
внимал он этим звукам, как русалки
со дна внимают, может быть, лобзаньям
скользящих весел и дыханью волн.

Весь день Ивейн так странствовал, напрасно
стараясь друг от друга отличать
те голоса, что проходили мимо,
но был среди них один – высокий, легкий,
звнящий, словно в клетке серебристой
в вечерний час, звнящий, и грустящий,
и тающий... Он походил на голос
Нимфаны, как походит взор богини,

намеченной художником, на взор
его возлюбленной. И этот
воздушный звук среди всех воздушных звуков
Ивейн умел мгновенно отличить.

Когда же рдел под бархатною аркой
вечерних туч покрашенный пожар
и засыпала темная равнина,
незримый город с нею замирал, –
казалось, – там заходит солнце вправду,
не крашенный двойник – живое солнце.
Там – сладко умолкали колокольцы,
там – бляяла блаженно и дремотно
последняя овца; там сонный гонг
кого-то звал и таял; запирались
с хозяйственным и крепким стуком двери.
Ивейн лежал и всей душою слушал,
как звуки вечереют; вот померкли.
Кругом лишь небо звездное осталось.
Его душа врывалась в сон, как лебедь.

Он спал... Он спал... Во сне он видел звуки,
переходящие в цвета, – не ведал,
что рядом с ним бессонная Нимфана
все думает, все думает, глядит
томительно на спящего при свете
луны, сочащейся через тугой

навес холста. Она его любила, –
а все же, все же к тем чудесным звукам
была глуха. Зачем же, притворяясь
понятливой, она скиталась с ним,
невнятному внимала, улыбалась,
о том же говорила, а иные
подробности придумывала тонко?
Зачем лгала? Что властвовало ею?
Гордыня ли, что делает из трусов
смеющихся бессмертных смельчаков?
Иль женская божественная жалость?
Иль просто слабость маленькой, слепой,
растерянной души? Никто не скажет.

Два месяца прошли чредой лазурной.
Однажды утром: «...Слышишь, слышишь, слышишь?» –
волнуясь, повторял Ивейн, – и солнце
туманилось в глазах его глубоких,
внимающих: по звуковым приметам
он мыслимых описывал прохожих:
«Вот, – говорил, – идет старик, ты слышишь
стук посоха и шарканье подошв?
А это – воин: слышишь хруст блестящий
ремней и лат? Вот – женщина: одежда
ее шуршит, как куст жасмина, – слышишь?»
«Да, милый, да», – Нимфана отвечала...
«А это, – продолжал Ивейн, смеясь

тихонько, – это вот босые дети:
шажки их – словно легкая капель.
Вот голубь пролетел – пушистый свирест,
вот зазвенело что-то, покатилося:
прохожий, верно, деньги уронил
и восклицает, а другой смеется
над простаком. А это...»

Но Нимфана
вдруг прервала журчанье грез его:
«Смотри, Ивейн, к нам едет всадник. Тот же,
что раз уж был...»

Король косматый, снова
учтивостью платя за поражение
минувшее, Ивейна приглашал
на праздник в Лаолян, а королева
Нимфане посылала ожерелье
в подарок да сияющее платье.

Ивейн взглянул на юную жену.
«Поедем, да? Ведь можем мы поехать?» –
она пролепетала, робко, жадно...
В ее глазах мольба сияла: брови
по-детски поднимались, и внезапно
в нем пронеслась какая-то немая,
крутая мысль – как взмах летучей мыши
через небо звездное, но в тот же миг
о ней забыв, он отвечал спокойно:

согласием.

Сверкающий гонец

вспять повернул, довольный, что склонил
пустынника. Над степью солнце плыло.

Ивейн глядел в пылающую даль,
прищурившись... А в городе незримом, –
над головой, высокий женский голос
надеждою неведомой звенел...

iii

Затейлив был король чернобородый:
цвели огни, и по дворцу, как люди,
ходили голенастые, большие
чудесно-розовые птицы. И на трех
струнах играл безумный смуглый карлик,
но так играл, что в сердце исполины
плясали... Были также и шуты,
и девушки босые, с лепестками
пунцовыми, приставшими как будто
к ногтям резным их лунны<x> легких ног.
Гремели бубны, как сердца хмельные,
и мальчики с раскосыми глазами
кувыркались, ходили на руках
по мраморному полу в круглой зале,
где стены были черными шелками
завешаны, а потолок лучился

узором паутинным серебра.

Ивейн глядел, как странник, на веселье,
на лица проходивших перед ним,
и все ему казалось грубым, тяжким,
как будто в мир приплыл он ненароком
с иной звезды, где легче вещество.

Не видел он, как двор очаровала
его жена: все в ней дразнило сердце –
воздушный и горячий блеск волос,
и чужестранный выговор, скользящий
по сгибам слов, и голоса живая
поспешность, и порхающие руки,
нежнейшие зеленые глаза,
и розовые губы, изумленно
смеющиеся, – губы и глаза,
как лепестки и листья олеандра...

К ней подходили, льстиво шелестя,
душистые и нежные вельможи,
их разговор, загадочно-шутливый,
тот разговор, в котором вьется призрак
любовного признанья, был ей сладок.

Она смеялась искренно, невинно,
лишь радуясь, что смотрят на нее.

Кружилась, лепетала, розовела...

И вдруг в толпе заметила Ивейна:
стоял он, молчаливый и далекий,
как спящий, улыбаясь. Вкруг него
носились дуновенья неприязни:
с ним избегали говорить, косились
(да мудрено ль? Беспечный дол смущает
немая высь). Глядели в даль иную
его глаза... И вдруг ей показалось,
что он смешон.

Когда же пир и пляски
пришли к концу, когда Ивейн шепнул ей:
«Пора... готовы кони... ночь слабеет...
Пора... без нас проснется ль царство наше?» –
когда вокруг, как бы жалея нежность
и блеск ее, все собрались, прощаясь,
тогда душа в ней вздрогнула, тоскою
тягучею наполнилась душа...

Как слабый раб, она очнулась, вышла
из радуги недолгого дурмана
в свой рабий день, глухой и напряженный.

Светало. По синеющей траве
они безмолвно ехали обратно.

Туманно пахло тмином. Звезды зябли
и втягивали щупальца в огромном
бледно-зеленом небе. Ветер – вестник
зари, блуждал, шептал цветам: готовьтесь,

готовьтесь... Кони фыркали. Росисто
хрустела степь. Две тучки, на востоке,
обнявшись, ждали солнца, как любовь
ждут девушки. Свежало...

Вот палатка
захлопала в глаза крылом холодным.
Вот, наклонясь, Нимфана проскользнула
в темнеющую щель, и, расседлав
коней, Ивейн последовал за нею.

Она сидела на ковре, во мраке,
молчала. Он, как призрак, к ней нагнулся,
ни глаз ее, ни плеч ее не видя,
но чувствуя по смутным очертаньям,
что смутно ей... «Нимфана, что с тобой?
Скажи, Нимфана?» Руку тронул, пальцы
пересчитал губами... «Что, Нимфана?»
«Устала я», – как будто издалека,
через туман, ответила она.
Он выпустил ее немую руку:
«Но голос твой, он странный, он не прежний...»
«Устала я», – Нимфана повторила
и замолчала вновь... Потом вздохнула
взволнованно и вдруг залепетала:
«Вот... я скажу – вини меня... – как знаешь,
но я скажу... а ты понять попробуй...
мне, видишь ли, порою снится жизнь

другая, – нет, молчи, дай мне докончить, –
мне снится жизнь минувшая – напевы,
влюбленный блеск зеркал, влюбленный шелест
вокруг меня, и веер мой душистый,
и розы, и прислужницы мои...»

Ивейн не шевелился. Луч наклонный
в палатку вплыл, и птица полевая
вдруг свистнула, так сладостно, так сочно,
как будто зоб ее был полон солнца.

«Ах, не сердись, – Нимфана лепетала, –
ты только не сердись. Я знаю, знаю,
я глупая и ты напрасно любишь
меня – но все-таки, Ивейн, пойми же,
ведь мы живем в пустыне, на ветру,
как прокаженные... Грубеют руки...
Волос мне даже не распутать... Змеи
тут водятся... Пойми же...»

Из палатки
косую тьму высасывало солнце.
Поблескивали чаши. Сетка света
зажглась над сеткою всяческой койки.
Окрасился ковер. Бубнил и бился
залетный шмель о хлопающий холст.

Тогда Ивейн, не глядя на подругу:

«Но как же так... – а солнце, степь, а наша
любовь, а город наш незримый?» Глухо
он повторил, как бы не понимая
своих же слов: «Незримый город... как же?»

И медленно взглянул он на Нимфану:
она дрожала в утреннем луче,
кусала губы... Темная морщина
между бровей наметилась... Взглянул, –
и задышающееся сомненье
метнулось в нем.

«Ивейн, не мучь меня,
не спрашивай... я ничего не знаю...
Уедем, я прошу тебя... уедем!»

Он побелел: «Оставить наше чудо,
оставить? Нет, Нимфана, никогда...
Я умер бы...» Она лицо закрыла,
стуча зубами, словно в огневице,
и слезы трепетно текли сквозь пальцы, –
горячие, безумные алмазы.
Прижался он виском к ее виску,
тоской своей к тоске ее стучащей,
спросил: «Скажи, ведь слышишь ты, ведь слышишь,
что слышу я<?>» – и, низко наклонясь,
рукой ведя по розовым узорам
на бирюзовом, выцветшем ковре,
она сказала правду...

Утро было
горячее, блестящее, сквозное,
исполненное сдержанною синью.
Проснувшись искрилась равнина.
Пушистые высокие цветы
благоуханно с ветром совещались,
шурша, горя, вытягивались змеи,
торчмя торчали суслики – молились.
Вверх по стеблям ползли жучки. Стреляли
в сияньи зыбком мухи золотые,
из-под травы выкидывался криво
кузнечик сухо-голубой. Лениво
по воздуху попрыгивая, слабый
стоглазый мотылек порхал и падал,
раскрывшись, – на цветок.
А там, в палатке,
Ивейн сидел, колени обхватив
руками напряженными – и тяжко,
и пристально смотрел он на жену.
Она в слезах уснула, как ребенок,
и странно было праздничное платье,
и яркий холод яхонтов на шее,
и золотая нить на лбу. И смутно
подумал он, что мертвых наряжают
вот точно так, по-праздничному пышно...
Она спала раскинувшись... Порою
чуть вздрагивала, морщилась во сне.

Ивейн смотрел – внезапно признанья,
внезапно потери оглушен.

В его ушах, как колокол в пещере,
гудел рассказ о длительном обмане.
Бессвязные в мозгу вздувались мысли,
как те чудовищные числовые
загадки и растущие шары,
что иногда в бреду больного мучат.

Затем, сухие губы сжав угрюмо,
он рядом лег и пышный душный ворот
свой расстегнул, и каменные веки
прикрыл, но спать не мог, хоть ночь провел
бессонную, шумливую... – и долго
он так лежал, не двигаясь, как спящий.

И медленно Нимфана пробудилась,
и вздрогнула, и встала, и, спеша,
на блестящее платье легкий плащ
накинула, взяла, в углу пошарив,
кошель и зеркальце; на миг нагнулась
над чистым лбом недвижимого Ивейна,
губами чуть дотронулась и вслух
подумала: «Вот я вернусь на север
и буду жить, как встарь жила, и если
захочет он последовать, – мы будем
вновь счастливы, – а если не захочет...»

...И тихо опустела жизнь. Ивейн
все разглядел сквозь тяжкие ресницы,
все расслышал, все принял, отдал все...
Он был один. Там, за палаткой, умер
последний звук, последнее бряцанье
удил, стремян: покорный конь унес
назад, назад, в обычный мир Нимфану.
Он встать хотел, подвинулся, но сердце
затопало и тошно покачнулось
и рухнуло в глухую пропасть... Долго
он пролежал в угрюмом, величавом
беспамятстве.

И трудно он очнулся,
и полдень был, – и все кругом звенело,
и вышел он, шатаясь, из палатки
на солнце... Закружилась голова
от брызнувшего блеска. Степь качалась
и вся плыла в потоках солнца, в вихре
горячего сиянья – и в сияньи
незримый город сказочно звенел!

Казалось, в нем необычайный праздник
шел, разрастаясь: вскрикивали песни,
переговаривались струны, смех,
смех молодой заплескивал в густую,
почти лиловую лазурь.

Без шапки,
в одежде огненной стоял Ивейн,
к чудесным звукам руки простирая.
И вдруг в сияньи захлебнулся мир
цветов и трав, – отхлынуло земное,
и выступило то, что прежде было
незримо глазу: самый воздух словно
окрасился. Яснили, поднимались
деревья, как зеленые фонтаны,
ограды, как всплывающие волны,
светящиеся белые дома, –
и люди легкой плещущей толпою
по улицам блестящим шли, играя
на лютнях и цветы бросая в воздух.
И ждал Ивейн восторженно, и видел
(не чувствуя, что валится он навзничь
в траву, в кр<у>женья солнца), видел, слышал,
что женщина идет к нему навстречу,
по лестнице спускается широкой,
воздушная, в шафрановых шелках,
знакомая и сказочно-чужая, –
идет к нему, по имени зовет,
идет, зовет, смеется, ближе, ближе...

.....

Горбун-пастух и сын его под вечер
в траве густой простертый труп нашли.
Старик вздохнул, нагнулся, тронул легкий,

блаженный лик, а сын крылатым оком
окинул степь, палатку, небосклон –
и прошептал в испуге: «Кто убийца,
куда бежал?» Отец на запад глянул,

на рдяный жар под бархатною аркой
закатных туч – и посох черный поднял
и молвил хмуро: «Солнце, знать, не свяжешь...»
Но юноша, казалось, слушал что-то,
склонив чело, вол<н>уясь и томясь...

Berlin. Февраль – 23 г.

Юность

і

И в сотый раз я повторю: глухая,
унылая, квадратная тюрьма!Е.Е.
Так, муза, так. Ты чувствуешь сама:
у нас, у нас, в гербах благоухая,
живут степей несмятые цветы,
у нас – сквозит в железных наших латах
ночь белая... Так чувствуешь и ты,
когда из края лет моих крылатых
порой ползут стихи – издалека, –
гугнивые и склизкие слегка,
и полные неблагостного гула.

ii

В них скука есть мещанского разгула.
Бьет по глазам Пегаса – конокрад...
Ужель моей отчизне надоели
плащи и розы, Делия, дуэли
и в Болдине священный листопад?
Одной октавой, низкой и певучей,
одним живым заветом дорожу.
Мне чужд соблазн развенчанных созвучий,
я к модному не склонен мятежу.
Такую вот люблю цезуру – зная,
что стих тогда – как плитка костяная:
налево два, направо три очка.

iii

«И снова три теперь? Твоя рука
лишь домино прокладывать умеет?»
Нет, на́ слово меня ты не лови,
огонь видений, доблести, любви
чем крепче сжать, тем жарче пламенеет!
Гори, душа, гори, не как–нибудь, –
но, проливаясь в облик благородный,
сладчайшего завета не забудь...
Вот я встаю и пленный и свободный,

вот я дышу, вот я почти — пою!

Дай вспомню юность легкую мою,

дай вспомню я с улыбкою стыдливой.

iv

Дом был у нас душистый и счастливый:

кварц искрился сквозь розовый гранит.

Мозаика цвела над верхним рядом

высоких окон. Просыпаюсь. Чадом

седым дымит день медленный. Звенит

в висках от вспышки лампы; заблестели

китайских птах янтарные хвосты

на деревянной ширме у постели.

В окне встают из серой темноты,

потягиваясь, призрачные трубы.

Горячий сон еще целует в губы,

часы хрипят и бьют... Встаю, встаю...

v

Так просыпаться буду я в раю,

где душу встретят просто и радиво,

где все найду, чем жил я на земле,

той лампы свет, те трубы в серой мгле.

Рай как стихи: ведь это ли не диво,

что для стиха семь лет я сберегал

тот свежий миг, когда, пофыркав в ванне,
я по широкой лестнице сбегал?
И был урок звенящий фехтованья
в библиотечной, в палевом луче,
где спали книги в кожаной парче,
а в каждой книге – сладостная муза.

vi

«Battez, battez», – гремит басок француза.

Я помню плечи моего отца,
скрещенных шпаг мерцательную пляску,
как он сиял, решетчатую маску
сняв с потного веселого лица...
Но мне пора. С Морской на Моховую
лечу, перегоняя рысаков.
Я помню все: Петрову длань живую,
смертельный свист под бронзою подков...
Летят мосты, летят лепные стены,
и мчит меня рыдание сирены,
шипенье шин по царственным торцам.

vii

Поверю ли кощунственным глупцам?
Победу их стихом ли удостою?
О, если впрямь растрекалась бы высь

и демоны в наш мир бы ворвались
безумною толпою золотою, –
я принял бы их звездные крыла,
их грозная мне льстила бы услада.
Но вы – глупцы! Я помню, что была
перед дворцом орлиная ограда.
Чугунного не стоит завитка
вся эта ваша смертная тоска,
придумавшая звезды шутовские...

viii

Прости же мне, погасшая Россия,
крутое пламя памяти моей.
Я помню все: особый запах школьный,
чуть пыльный – да – и двор прямоугольный.
Я был влюблен!Е.Е. Я жизни был живее.
Был каменный бассейн в оранжерее,
соединявшей аркою сквозной
два корпуса училища. Жирея
в густой воде под тиною сплошной,
блаженно жили рыбки золотые.
Раз, на пари, вскочил я на крутые
края бассейна и – в чем был – бултых.

ix

Перепугал я рыбок золотых!

Как водяной, я вылез. Воспитатель
стоял в дверях. На миг застыли мы:
я в тине весь, а он – темнее тьмы.

<И> вдруг я улыбнулся – так некстати.

Дверь хлопнула, но знал <я> с торжеством,
что понял он скользнувшую улыбку...

Вот вымок я! В кармане боковом
нашел я рот разинувшую рыбку.

Ведь так: просты поэты и не злы,
им мелочи нелепые милы.

И, мир творя, смеялся Бог любовно.

х

Под аркою дрова теснились ровно.

Двор был широк и твердо–землянист.

Мы гнали мяч в час звучной перемены:

пинками, – бац! – об каменные стены

он шлепался, – летим мы – ветра свист, –

гремим по плоским крыш<к>ам, по железу,

сшибаемся, орем... Через забор

перелетает мяч, и вот я лезу,

карабкаюсь за ним – в соседний двор.

Игра идет. Играя, помню чьи–то

ресницы, блеск, ресницами прикрытый.

Ресницы первой радости моей...

xi

А выпадет снежок, да поплотней, –
мы затеваем дружескую драку.
Краснеют руки мокрые. Но вот
полет звонка в столовую зовет.
Я помню чай в стаканах, кулебяку,
цинк легких ложек, студень киселя...
Затем урок... Я рифмами позорю
задачника помятые поля.
И снова зал подобен морю, морю,
залившему всю палубу. Звонок,
последний час – любимый мой урок:
поэтом был учитель русской речи.

xii

В жилете старомодном, узкоплечий
и с огненной гривой на челе,
ты в класс входил: день зимний виновато
тускнел уже. Над классом лиловато –
молочный свет чуть свирестел в стекле.
И, вздрагивая рыжими крылами,
ты в громовые ямбы улетал,
за пламенем выплевывая пламя,
ты буйственно нам Пушкина читал.

Благодарю, благодарю, Бестужев! –
в моих стихах, в моей певучей стуже
волнуется сутулый твой огонь.

xiii

Я положил в раздумии ладонь
на этот лист, где вспыхнул сквозь помарки
последний стих: ужели никогда
не возвращусь я? Не услышу – да –
чуть пыльный дух? Не выйду из-под арки
на старый двор? Ужель не возвращусь?
В мой сон порой свет льется лиловатый,
и я – во сне – опять сию, учусь.
Меня сосед, тупой, мужиковатый,
с рябым лицом, толкает в бок, – но нет, –
не слушаю, пишу хромой сонет,
и все о вас, веселые ресницы!

xiv

Мне снится снег на сизой шубке, снится
мне влажный смех слегка раскосых глаз.
Сон, милый сон, морозный и веселый;
я иногда не доезжал до школы,
на полпути слезал – и в должный час
проходишь ты по Серг<и>евской белой,

и я к тебе чрез улицу иду.

Ах, наше счастье зябкое сидело
на всех скамьях в Таврическом саду.
Сиял мороз. Когда ты целовала,
мне жаркой мутью душу обдавало,
а после – снег сиял еще синей.

xv

Немало грез я перегрезил с ней,
с той девочкой в пушистой шубке сизой.
Я школу пропускал, и впопыхах
любили мы – и в утренних стихах
я звал ее Лаурой, Монна–Лизой [sic].
И где она? В серебряном саду
все так же спит на черных ветках иней,
гремят коньки по матовому льду
и небо веет тишиною синей.
Но где ж она? Не знаю, не пойму.
В последний раз – в бушующем Крыму –
из хутора полтавского – открытка...

xvi

Еще душа не дочитала свитка
эпических скитаний по чужим
краям, еще поют на перепутьях

колдуньи в соблазнительных лохмотьях, –
но конь летит и всадник недвижим.
Еще встает из грота потайного
обезумелый великан тоски,
чтоб сгорбиться и притаиться снова
по мановенью рыцарской руки.
Да, рыцари... Вот щит, простой, железный,
вот подвиг наш – быть может, бесполезный,
но благостный, но светлый, но живой...

xvii

Вернемся мы! Над вольною Невой
какие будут царственные встречи!
Какой спокойный и счастливый смех, –
и отличаться будем мы от всех
благоуханной медленностью речи –
да, – некою старинной простотой
речей, одежд и сдержанных движений,
затем, что шли мы строгою стопой,
в самих себе не зная поражений,
затем, что мы в пыли чужих дорог
все помнили, – затем, что с нами Бог...

Берлин

6. XI. 23

Университетская поэма

1

«Итак, вы русский? Я впервые
встречаю русского...» Живые,
слегка навывкате, глаза
меня разглядывают: «К чаю
лимон вы любите, я знаю;
у вас бывают образа
и самовары, знаю тоже!»
Она мила: по нежной коже
румянец Англии разлит.
Смеется, быстро говорит:
«Наш город скучен, между нами, –
но речка – прелесть! Е.Е. Вы гребец?»
Крупна, с покатыми плечами,
большие руки без колец.

2

Так у викария за чаем
мы, познакомившись, болтаем,
и я старательно острою,
и не без сладостной тревоги
на эти скрещенные ноги
и губы яркие смотрю,

и снова отвожу поспешно
нескромный взгляд. Она, конечно,
явилась с теткою, но та
социализмом занята, –
и, возражая ей, викарий, –
мужчина кроткий, с кадыком, –
скосил по-песью глаз свой карий
и нервным давится смешком.

3

Чай крепче мюнхенского пива.
Туманно в комнате. Лениво
в камине слабый огонек
блестит, как бабочка на камне.
Но засиделся я, – пора мне...
Встаю; кивок, еще кивок,
прощаюсь я, руки не тыча, –
так здешний требует обычай, –
сбегаю вниз через ступень
и выхожу. Февральский день,
и с неба вот уж две недели
непрекращающийся ток.
Неужто скучен в самом деле
студентов древний городок?

4

Дома, – один другого краше, –
чью старость розовую наши
велосипеды веселят;
ворота колледжей, где в нише
епископ каменный, а выше –
как солнце, черный циферблат;
фонтаны, гулкие прохлады,
и переулки, и ограды
в чугунных розах и шипах,
через которые впотьмах
перелезть совсем не просто;
кабак – и тут же антиквар,
и рядом с плитами погоста
живой на площади базар.

5

Там мяса розовые глыбы;
сырая вонь блестящей рыбы;
ножи; кастрюли; пиджаки
из гардеробов безымянных;
отдельно, в положеньях странных,
кривые книжные лотки
застыли, ждут, как будто спрятав
тму алхимических трактатов;
однажды эту дребедень

перебирая, – в зимний день,
когда, изгнанника печалю,
шел снег, как в русском городке, –
нашел я Пушкина и Даля
на заколдованном лотке.

6

За этой площадью щербатой
кинематограф; и туда–то
по вечерам мы в глубину
туманной дали заходили, –
где мчались кони в клубах пыли
по световому полотну,
волшебнo зрителя волнуя;
где силуэтом поцелуя
все завершалось в должный срок;
где добродетельный урок
всегда в трагедию был вкраплен;
где семенил, носками врозь,
смешной и трогательный Чаплин;
где и зевать нам довелось.

7

И снова – улочки кривые,
ворот громады вековые, –

а в самом сердце городка
цирюльня есть, где брился Ньютон,
и древней тайною окутан
трактирчик «Синего Быка».
А там, за речкой, за домами,
дерн, утрамбованный веками,
темно-зеленые ковры
для человеческой игры,
и звук удара деревянный
в холодном воздухе. Таков
был мир, в который я нежданно
упал из русских облаков.

8

Я по утрам, вскочив с постели,
летел на лекцию; свистели
концы плаща, – и наконец
стихало все в холодноватом
амфитеатре, и анатом
всходил на кафедру, – мудрец
с пустыми детскими глазами, –
и разноцветными мелками
узор японский он чертил
переплетающихся жил
или коробку черепную;
чертил, – и шуточку нет-нет

да и отпустит озорную, –
и все мы топали в ответ.

9

Обедать. В царственной столовой
портрет был Генриха Восьмого –
тугие икры, борода –
работы пышного Гольбайна;
в столовой той, необычайно
высокой, с хорами, всегда
бывало темновато, даром
что фиолетовым пожаром
от окон веяло цветных.
Нагие скамьи вдоль нагих
столов тянулись. Там сидели
мы в черных конусах плащей
и переперченные ели
супы из вялых овощей.

10

А жил я в комнатке старинной,
но в тишине ее пустынной
тенями мало дорожил.
Держа московского медведя,
боксеров жалуя и бредя

красой Италии, – тут жил
студентом Байрон хромоногий.
Я вспоминал его тревоги, –
как Геллеспонт он переплыл,
чтоб похудеть. Но я остыл
к его твореньям... Да простится
неромантичности моей, –
мне розы мраморные Китса
всех бутафорских бурь милей.

11

Но о стихах мне было вредно
в те годы думать. Винтик медный
вращать, чтоб в капельке воды,
сияя, мир являлся малый, –
вот это день мой занимало.
Любил я мирные ряды
лабораторных ламп зеленых,
и пестроту таблиц мудреных,
и блеск приборов колдовской.
И углубляться день–деньской
в колодезь светлый микроскопа
ты не мешала мне совсем,
тоскующая Каллиопа,
тоска неконченных поэм.

12

Зато другое отвлекало:
вдруг что-то в памяти мелькало,
как бы не в фокусе, – потом
ясней, и снова пропадало.
Тогда мне вдруг надоедало
иглой работать и винтом,
мерцанье наблюдать в узоре
однообразных инфузорий,
кишки разматывать в уже;
лаборатория уже
мне больше не казалась раем;
я начинал воображать,
как у викария за чаем
мы с нею встретимся опять.

13

Так! Фокус найден. Вижу ясно.
Вот он, каштаново-атласный
переливающийся лоск
прически, и немного грубый
рисунок губ, и эти губы,
как будто ярко-красный воск
в мельчайших трещинках. Прикрыла
глаза от дыма, докурила,

и, жмурясь, тычет золотым
окурком в пепельницу... Дым
сейчас рассеется, и станут
мигать ресницы, и в упор
глаза играющие глянут,
и, первый, опущу я взор.

14

Не шло ей имя Виолета,
(вернее: Вайолет, – но это
едва ли мы произнесем).
С фиалкой не было в ней сходства, –
напротив: ярко, до уродства,
глаза блестели, и на всем
подолгу, радостно и важно
взор останавливался влажный,
и странно ширились зрачки...
Но речи, быстры и легки,
не соответствовали взору, –
и доверять не знал я сам
чему? – пустому разговору
или значительным глазам...

15

Но знал: предельного расцвета

в тот год достигла Виолета, –
а что могла ей принести
британской барышни свобода?
Осталось ей всего три года
до тридцати, до тридцати...
А сколько тщетных увлечений, –
и все они прошли, как тени, –
и Джим, футбольный чемпион,
и Джо мечтательный, и Джон,
герой угрюмый интеграла...
Она лукавила, влекла,
в любовь воздушную играла,
а сердцем большего ждала.

16

Но день приходит неминуемый;
он уезжает, друг летучий:
оплачен счет, экзамен сдан,
ракета теннисная в раме, –
и вот блестящими замками,
набитый, щелкнул чемодан.
Он уезжает. Из передней
выносят вещи. Стук последний, –
и тронулся автомобиль.
Она вослед глядит на пыль:
ну что ж – опять фаты венчальной

напрасно призрак снился ей...

Пустая улочка и дальний
звук перебора скоростей...

17

От инфлуэнции презренной
ее отец, судья почтенный,
знаток портвейна, балагур,
недавно умер. Виолета
жила у тетки. Дама эта,
одна из тех ученых дур,
какими Англия богата, –
была в отличие от брата
высокомерна и худа,
ходила с тросточкой всегда,
читала лекции рабочим,
культуры чтит идеал
и полагала, между прочим,
что Харьков – русский генерал.

18

С ней Виолета не бранилась, –
порой могла бы, но ленилась, –
в благополучной тишине
жила, – о мире мало зная,

отца все реже вспоминая,
не помня матери (но мне
о ней альбомы рассказали, –
о временах осиных талий,
горизонтальных канотье.
Последний снимок: на скамье
она сидит; по юбке длинной
стекают тени на песок;
скромна горжетка, взор невинный,
в руке крокетный молоток).

19

Я приглашен был раза два–три
в их дом радушный, да в театре
раз очутилась невзначай
со мною рядом Виолета.
(Студенты ставили Гамлета,
и в этот день был рай не в рай
великой тени барда.) Чаше
мы с ней встречались на кричащей
вечерней улице, когда
снует газетчиков орда,
гортанно вести выкликая.
Она гуляла в этот час.
Два слова, шуточка пустая,
великолепье темных глаз.

20

Но вот однажды, помню живо,
в начале марта, в день дождливый,
мы на футбольном были с ней
соревнованьи. Понемногу
росла толпа, – отдавит ногу,
пихнет в плечо, – и все тесней
многоголовое кишенье.

С самим собою в соглашенье
я молчаливое вошел:
как только грянет первый гол,
я трону руку Виолеты.
Меж тем, в короткие портки,
в фуфайки пестрые одеты, –
уж побежали игроки.

21

Обычный зритель: из-под кепки
губа брезгливая и крепкий
дымок Виргинии. Но вдруг
разжал он губы, трубку вынул,
еще минута – рот разинул,
еще – и воет. Сотни рук
взвились, победу понукая:

игрок искусный, мяч толкая,
вдоль поля ласточкой стрельнул, –
навстречу двое, – он вильнул,
прорвался, – чистая работа, –
и на бегу издалека
дубленный мяч кладет в ворота
ударом меткого носка.

22

И тихо протянул я руку,
доверясь внутреннему стуку,
мне повторяющему: тронь...
Я тронул. Я собрался даже
пригнуться, зашептать... Она же
непотеплевшую ладонь
освободила молчаливо,
и прозвучал ее шуточный,
всегдашний голос, легкий смех:
«Вон тот играет хуже всех, –
все время падает, бедняга...»
Дождь моросил едва-едва;
мы возвращались вдоль оврага,
где прела черная листва.

23

Домой. С гербами на фронтонах
большое здание в зеленых
просветах внутренних дворов.
Там тихо было. Там в суровой
(уже описанной) столовой
был штат лакеев–стариков.
Там у ворот швейцар был зоркий.
Существовала для уборки
глухой студенческой норы
там с незапамятной поры
старушек мелкая порода;
одна ходила и ко мне
сбивать метелкой пыль с комода
и с этажерок на стене.

24

И с этим образом расстаться
мне трудно. В памяти хранятся
ее мышинные шажки,
смешная траурная шляпка, –
в какой, быть может, и прабабка
ее ходила, – волоски
на подбородке... Утром рано
из желтоватого тумана
она беззвучно, в черном вся,
придет и, щепки принеся,

согнется куклою тряпичной
перед голодным очагом,
наложит кокс рукой привычной
и снизу чиркнет огоньком.

25

И этот образ так тревожит,
так берedit меня... Быть может,
в табачной лавочке отца
во дни Виктории, бывало,
она румянцем волновала
в жилетах клетчатых сердца, —
сердца студентов долговязых...
Когда играет в темных вязах
звук драгоценный соловья,
ее встречал такой, как я,
и с этой девочкой веселой
сирень персидскую ломал;
к ее склоненной шее голой
в смятеньи губы прижимал.

26

Воображенье дальше мчится:
ночь... лампа на столе... не спится
больному старику... застыл,

ночной подслушивает шепот:
отменно важный начат опыт
в лаборатории... нет сил...
Она приходит в час урочный,
поднимет с полу сор полночный –
окурки, ржавое перо;
из спальни вынесет ведро.
Профессор стар. Он очень скоро
умрет, и он давно забыл
душистый табачок, который
во дни Виктории курил.

27

Ушла. Прикрыла дверь без стука...
пылают угли. Вечер. Скука.
И, оглушенный тишиной,
я с кексом в родинках изюма
пью чай, бездействуя угрюмо.
В камине ласковый, ручной,
огонь стоит на задних лапах,
и от тепла шершавый запах
увядшей мебели слышней
в старинной комнатке моей.
Горячей кочергою ямки
в шипящей выжигать стене,
играть с самим с собою в дамки,

читать, писать, – что делать мне?

28

Отставя чайничек кургузый,
родной словарь беру – и с музой,
моею вялой госпожой,
читаю в тягостной истоме
и нахожу в последнем томе
меж «хананыгой» и «ханжой»
«хандра: тоска, унынье, скука;
сплин, ипохондрия». А ну-ка, –
стихотворенье сочиню..
Так час-другой, лицом к огню,
сизу я, рифмы подбирая,
о Виолете позабыв, –
и вот, как музыка из рая,
звучит курантов перелив.

29

Открыв окно, курантам внемлю:
перекрестили на ночь землю
святые ноты четвертей,
и бьют часы на башне дальней,
считает башня, и печальней
вдали другая вторит ей.

На тяжелеющие зданья
по складкам мантия молчанья
спадает. Вслушиваюсь я, –
умолкло все. Душа моя
уже к безмолвию привыкла, –
как вдруг со смехом громовым
взмывает ветер мотоцикла
по переулкам неживым!

30

С тех пор душой живу я шире:
в те годы понял я, что в мире
пред Богом звуки все равны.
В том городке, под сенью башен,
был грохот жизни бесшабашен,
и смесь хмельная старины
и настоящего живого
мне впрок пошла: душа готова
всем любоваться под луной, –
и стариной, и новизной.
Но я в разладе с лунным светом,
я избегаю тосковать...
Не дай мне, Боже, стать поэтом,
земное сдуру прозевать!

31

Нет! я за книгой в кресле сонном,
перед камином озаренным,
не пропустил, тоскуя зря,
весны прелестного вступленья.
Довольно угли и поленья
совать в камин – до октября.
Вот настужь небеса открыты,
вот первый крокус глянцевитый,
как гриб, сквозь мураву пророс,
и завтра, без обильных слез,
без сумасшедшего напева,
придет, усядется она, –
совсем воспитанная дева,
совсем не русская весна.

32

И вот пришла. Прозрачней, выше
курантов музыка, и в нише
епископ каменный сдает
квартиры ласточкам. И гулко
дудя в пролете переулка,
машина всякая снует.
Шумит фонтан, цветет ограда.
Лоун–теннис – белая отрада –
сменяет буйственный футбол:

в штанах фланелевых пошел
весь мир играть. В те дни кончался
последний курс – девятый вал,
и с Виолетой я встречался
и Виолету целовал.

33

Как в первый раз она метнулась
в моих объятьях, – ужаснулась,
мне в плечи руки уперев,
и как безумно и уныло
глаза глядели! Это было
не удивленье и не гнев,
не девичий испуг условный...
Но я не понял... Помню ровный,
остриженный по моде сад,
шесть белых мячиков и ряд
больших кустов рододендрона;
я помню, пламенный игрок,
площадку твердого газона
в чертах и с сеткой поперек.

34

Она лениво – значит, скверно –
играла; не летала серной,

как легконогая Ленглен.
Ах, признаюсь, люблю я, други,
на всем разбеге взмах упругий
богини в платье до колен!
Подбросить мяч, назад согнуться,
молниеносно развернуться,
и струнной плоскостью плеча
скользнуть по темени мяча,
и, ринувшись, ответ свистящий
уничтожительно прервать, –
на свете нет забавы слаще...
В раю мы будем в мяч играть.

35

Стоял у речки дом кирпичный:
плющом, глицинией обычной
стена меж окон обвита.
Но кроме плюшевой гостиной,
где я запомнил три картины:
одна – Мария у Креста,
другая – ловчий в красном фраке,
и третья – спящие собаки, –
я комнат дома не видал.
Камин и бронзовый шандал
еще, пожалуй, я отмечу,
и пианолу под чехлом,

и ног нечаянную встречу
под чайным чопорным столом.

36

Она смирилась очень скоро...
Уж я не чувствовал укора
в ее послушности. Весну
сменило незаметно лето.
В полях блуждаем с Виолетой:
под черной тучей глубину
закат, бывало, разрумянит, –
и так в Россию вдруг потянет,
обдаст всю душу тошный жар, –
особенно когда комар
над ухом пропоет, в безмолвный
вечерний час, – и ноет грудь
от запаха черемух. Полно,
я возвращусь когда-нибудь.

37

В такие дни, с такою ленью
не до науки. К сожаленью,
экзамен нудит, хошь не хошь.
Мы поработаем, пожалуй...
Но книга – словно хлеб лежалый,

суха, тверда – не разгрызешь.

Мы и не то одолевали...

И вот верчусь среди вакханалий
названий, в оргиях систем,
и вспоминаю вместе с тем,
какую лодочник знакомый
мне шлюпку обещал вчера,
и недочитанные томы –
хлоп, и на полочку. Пора!

38

К реке воскресной, многолюдной
местами сходит изумрудный
геометрический газон,
а то нависнет арка: тесен
под нею путь, – потемки, плесень.
В густую воду с двух сторон
вросли готические стены.
Как неземные гобелены,
цветут каштаны над мостом,
и плющ на камне вековом
тузами пиковыми жметя, –
и дальше, узкой полосой,
река вдоль стен и башен вьется
с венецианскою ленцой.

39

Плоты, пироги да байдарки;
там граммофон, тут зонтик яркий;
и осыпаются цветы
на зеленеющую воду.
Любовь, дремота, тьма народу,
и под старинные мосты,
сквозь их прохладные овалы,
как сон блестящий и усталый,
все это медленно течет,
переливается, – и вот
уводит тайная излука
в затон черемухи глухой,
где нет ни отсвета, ни звука,
где двое в лодке под ольхой.

40

Вино, холодные котлеты,
подушки, лепет Виолеты;
легко дышал ленивый стан,
охвачен шелковой вязкой;
лицо, не тронутое краской,
пылало. Розовый каштан
цвел над ольшаником высоко,
и ветерок играл осокой,

по лодке шарил, чуть трепал
юмористический журнал;
и в шею трепетную, в душку
я целовал ее, смеясь.
Смотрю: на яркую подушку
она в раздумьи оперлась.

41

Перевернула лист журнала
и взгляд как будто задержала,
но взгляд был темен и тягуч:
она не видела страницы...
вдруг из-под дрогнувшей ресницы
блестящий вылупился луч,
и по щеке румяно-смуглой,
играя, покатился круглый
алмаз... «О чем же вы, о чем,
скажите мне?» Она плечом
пожала и небрежно стерла
блистанье той слезы немой,
и тихим смехом вздулось горло:
«Сама не знаю, милый мой...»

42

Текли часы. Туман закатный

спустился. Вдалеке невнятно
пропел на пастбище рожок.
Налетом сумеречно-мглистым
покрылся мир, и я в слоистом,
цветном фонарике зажег
свечу, и тихо мы поплыли
в туман, – где плакала не ты ли,
Офелия, иль то была
лишь граммофонная игла?
В тумане звук неизъяснимый
все ближе, и, плеснув слегка,
тень лодки проходила мимо,
алела капля огонька.

43

И может быть, не Виолета, –
другая, и в другое лето,
в другую ночь плывет со мной...
Ты здесь, и не было разлуки,
ты здесь, и протянула руки,
и в смутной тишине ночной
меня ты полюбила снова,
с тобой средь марева речного
я счастья наконец достиг...
Но, слава Богу, в этот миг
стремленья грезы невозможной

звук речи английской прервал:
«Вот пристань, милый. Осторожно».
Я затабанил и пристал.

44

Там на скамье мы посидели...
«Ах, Виолета, неужели
вам спать пора?» И заблистав
преувеличенно глазами,
она в ответ: «Судите сами, –
одиннадцать часов», – и, встав,
в последний раз мне позволяет
себя обнять. И поправляет
прическу: «Я дойду одна.
Прощайте». Снова – холодна,
печальна, чем-то недовольна, –
не разберешь... Но счастлив я:
меня подхватывает вольно
восторг ночного бытия.

45

Я шел домой, пьянея в тесных
объятых улочек прелестных, –
и так душа была полна,
и слов была такая скудность!

Кругом – безмолвие, безлюдность
и, разумеется, луна.
И, блики на панели гладкой
давя резиновой пяткой,
я шел и пел «Аллаверды»,
не чуя близости беды..
Предупредительно и хмуро
из-под невидимых ворот
внезапно выросли фигуры
трех неприятнейших господ.

46

Глава их – ментор наш упорный:
осанка, мантия и черный
квадрат покрывки головной, –
весь вид его – укор мне строгий.
Два молодца – его бульдоги –
с боков стоят, следят за мной.
Они на сыщиков похожи,
но и на факельщиков тоже:
крепки, мордасты, в сюртуках,
в цилиндрах. Если же впотьмах
их жертва в бегство обратится,
спасет едва ли темнота, –
такая злая в них таится
выносливость и быстрота.

47

И тихо помянул я чорта...
Увы, я был одет для спорта,
а ночью требуется тут
(смотри такой-то пункт статута)
ходить в плаще. Еще минута,
ко мне все трое подойдут,
и средний взгляд мой взглядом встретит,
и спросит имя, и отметит, –
«спасибо» вежливо сказав;
а завтра – выговор и штраф.
Я замер. Свет белесый падал
на их бесстрастные черты.
Надвинулись... И тут я задал,
как говорится, лататы.

48

Луна... Погоня... Сон безумный...
Бегу, шарахаюсь бесшумно:
то на меня из тупика
цилиндра призрак выбегает,
то тьма плащом меня пугает,
то словно тянется рука
в перчатке черной... Мимо, мимо...

И все луною одержимо,
все исковеркано кругом...
И вот стремительным прыжком
окончил я побег бесславный,
во двор коллегии пролез,
куда не вхож ни ангел плавный,
ни изворотливейший бес.

49

Я запыхался... Сердце бьется...
И ночь томит, лениво льется...
И в холодок моих простынь
вступаю только в час рассвета, –
и ты мне снишься, Виолета,
что просишь будто: «Плащ накинь...
не тот, не тот... он слишком узкий...»
Мне снится, что с тобой по-русски
мы говорим, и я во сне
с тобой на ты, – и снится мне,
что будто принесла ты щепки,
ломаешь их, в камин кладешь...
Ползи, ползи, огонь нецепкий, –
ужели дымом изойдешь?

50

Я поздно встал, проспал занятия...
Старушка чистила мне платье:
под щеткой – пуговицы стук.
Оделся, покурил немного;
зевая, в клуб Единорога
пошел позавтракать, – и вдруг
встречаю Джонсона у входа!
Мы не видались с ним полгода –
с тех пор, как он экзамен сдал.
«С приездом, вот не ожидал!»
«Я ненадолго, до субботы;
мне нужно только разный хлам –
мои последние работы –
представить здешним мудрецам».

51

За столик сели мы. Закуски
и разговор о том, что русский
прожить не может без икры;
потом – изгиб форели синей,
и разговор о том, кто ныне
стал мастер теннисной игры;
за этим – спор довольно скучный
о стачке, и пирог воздушный.
Когда же, мигом разыграв
бутылку дружеского Грав,

за обольстительное Асти
мы деловито принялись, –
о пустоте сердечной страсти
пустые толки начались.

52

«Любовь... – и он вздохнул протяжно:

Да, я любил... Кого – неважно;
но только минула весна,
я замечаю, – плохо дело;
воображенье охладело,
мне опостылела она».

Со мной он чокнулся уныло
и продолжал: «Ужасно было...
Вы к ней нагнетесь, например,
и глаз, как, скажем, Гулливер,
гуляющий по великанше,
увидит борозды, бугры
на том, что нравилось вам раньше,
что отвращает с той поры...»

53

Он замолчал. Мы вышли вместе
из клуба. Говоря по чести,
я был чуть с мухой, и домой

хотелось. Солнце жгло. Сверкали
деревья. Молча мы шагали, –
как вдруг угрюмый спутник мой, –
на улице Святого Духа –
мне локоть сжал и молвил сухо:
«Я вам рассказывал сейчас... –
Смотрите, вот она, как раз...»
И шла навстречу Виолета,
великолепна, весела,
в потоке солнечного света,
и улыбнулась, и прошла.

54

В каком-то раздраженьи тайном
с моим приятелем случайным
я распрощался. Хмель пропал.
Так: поваландался и баста!
Я стал работать, – как не часто
работал, днями утопал,
ероша волосы, в науке,
и с Виолетой разлуки
не замечал; и, наконец
(как напрягается гребец
у приближающейся цели),
уже я ночи напролет
зубрил учебники в постели,

к вискам прикладывая лед.

55

И началось. Экзамен длился
пять жарких дней. Так накалился
от солнца тягостного зал,
что даже обморока случай
произошел, и вид падучей
сосед мой справа показал
во избежание провала.

И кончилось. Поцеловала
счастливец Альма Матер в лоб;
убрал я книги, микроскоп, –
и вспомнил вдруг о Виолете,
и удивился я тогда:
как бы таинственных столетий
нас разделила череда.

56

И я уже шатун свободный,
душою легкой и голодной
в другие улетал края, –
в знакомый порт, и там в конторе
вербует равнодушно море
простых бродяг, таких, как я.

Уже я прожил все богатства:
портрет известного аббатства
всего в двух копиях упас.
И в ночь последнюю – у нас
был на газоне, посредине
венецианского двора,
обычный бал, и в серпантине
мы проскользили до утра.

57

Двор окружает галерея.
Во мраке синем розовея,
горят гирлянды фонарей –
Эола легкие качели.
Вот музыканты загремели –
пять черных яростных теней
в румяной раковине света.
Однако где же Виолета?
Вдруг вижу: вот стоит она,
вся фонарем озарена,
меж двух колонн, как на подмостках.
И что-то подошло к концу...
Ей это платье в черных блестках,
быть может, не было к лицу.

58

Прикосновеньем не волнуем,
я к ней прильнул, и вот танцуем:

она безмолвна и строга,
лицом сверкает недвижимым,
и поддается под нажимом
ноги упругая нога.

Послушны грохоту и стону
ступают пары по газону,
и серпантин со всех сторон.
То плачет в голос саксофон,
то молоточки и трещотки,
то восклицание цимбал,
то длинный шаг, то шаг короткий, –
и ночь любитесь на бал.

59

Живой душой не правит мода,
но иногда моя свобода
случайно с нею совпадет:
мне мил фокс-трот, простой и нежный...

Иной мыслитель неизбежно
симптомы века в нем найдет, –
разврат под музыку бедлама;
иная пишущая дама
или копеечный пиит

о прежних танцах возопит;
но для меня, скажу открыто,
особой прелести в том нет,
что грубоватый и немый
маркиз танцует менуэт.

60

Оркестр умолк. Под колоннаду
мы с ней прошли, и лимонаду
она глотнула, лепеча.
Потом мы сели на ступени.
Смотрю: смешные наши тени
плечом касаются плеча.
«Я завтра еду, Виолета».
И было выговорить это
так просто... Бровь подняв, она
мне улыбнулась, и ясна
была улыбка: «После бала
легко все поезда проспять».
И снова музыка стонала,
и танцевали мы опять.

61

Прервись, прервись, мой бал прощальный!
Пока роняет ветер бальный

цветные ленты на газон
и апельсиновые корки, –
должно быть, где-нибудь в каморке
старушка спит, и мирен сон.
К ней пятна лунные прильнули;
чернеет платице на стуле,
чернеет шляпка на крюке;
будильник с искрой в куполке
прилежно тикает; под шкапом
мышь пошуршит и шуркнет прочь;
и в тишине смиренным храпом
исходит нищенская ночь.

62

Моя старушка в полдень ровно
меня проводит. Я любовно
ракету в раму завинтил,
нажал на чемодан коленом,
захлопнул. По углам, по стенам
душой и взглядом побродил:
да, взято все... Прощай, берлога!
Стоит старушка у порога...
Мотора громовая дрожь, –
колеса тронулись... Ну что ж,
еще один уехал... Свежий
сюда вселится в октябре, –

и разговоры будут те же,
и тот же мусор на ковре...

63

И это все. Довольно, звуки,
довольно, муза. До разлуки
прошу я только вот о чем:
летя, как ласточка, то ниже,
то в вышине, найди, найди же
простое слово в мире сем,
всегда понять тебя готовом;
и да не будет этим словом
ни моль бичуема, ни ржа;
мгновеньем всяким дорожа,
благослови его движенье,
ему застыть не повели;
почувствуй нежное вращенье
чуть накренившейся земли.

<1926>

Бабочки

Отрывок из поэмы

...Издали узнаешь махаона
по солнечной, тропической красе:

пронесся вдоль муравчатого склона
и сел на одуванчик у шоссе.
Удар сачка, – и в сетке шелест громкий.
О, желтый демон, как трепещешь ты!
Боюсь порвать зубчатые каемки
и черные тончайшие хвосты.
А то, бывало, в иволговом парке,
в счастливый полдень, ветреный и жаркий,
стою, от благовонья сам не свой,
перед высокой рыхлою сиренью,
почти малиновою по сравненью
с глубокою небесной синевой;
и махаон свисает с грозди, дышит,
пьянеет он, золотокрылый гость,
и ветер осмотрительно колышет
и бабочку, и сладостную гроздь.
Нацелишься, – но помешают ветки;
взмахнешь, – но он блеснул и был таков;
и сыплются из вывернутой сетки
лишь сорванные крестики цветов...

В. Набоков–Сирин

<ок. 1926–1929>

Из калмбродовой поэмы «Ночное путешествие»

(Vivian Calmbrood's The Night Journey)

От Меррифильда до Ольдgroва
однообразен перегон:
все лес да лес со всех сторон.
Ночь холодна, луна багрова.
Тяжелым черным кораблем
проходит дилижанс, и в нем
спят пассажиры, спят, умаясь:
бессильно клонится чело
и вздрагивает, поднимаясь,
и снова никнет тяжело.
И смутно слышатся среди мрака
приливы и отливы снов,
храпенье дюжины носов.

В ту ночь осеннюю, однако,
был у меня всего один
попутчик: толстый господин
в очках, в плаще, в дорожном пледе.
По кашлю судя, он к беседе
был склонен, и пока рыдван
катился грузно сквозь туман,
и жаловались на ухабы
колеса, и скрипела ось,
и все трещало и тряслось,
разговорились мы.

«Когда бы

(со вздохом начал он) меня
издатель мой не потревожил,
я б не покинул мест, где прожил
все лето с Троицына дня.
Вообразите гладь речную,
березы, вересковый склон.
Там жил я, драму небольшую
писал из рыцарских времен;
ходил я в сюртучке потертom,
с соседом, с молодым Вордсвортом,
удил форелей иногда
(его стихам вредит вода,
но человек он милый), – словом,
я счастлив был – и признаюсь,
что в Лондон с манускриптом новым
без всякой радости тащусь.

В лирическом служенье музе,
в изображении стихий
люблю быть точным: щелкнул кий,
и слово правильное в лузе;
а вот изволь–ка, погрузясь
в туман и лондонскую грязь,
сосредоточить вдохновенье:
все расплывается, дрожит,
и рифма от тебя бежит,
как будто сам ты привиденье.

Зато как сладко для души
в деревне, где-нибудь в глуши,
внимая думам тиховейным,
котенка за ухом чесать,
ночь многозвездную вкушать
и запивать ее портвейном,
и, очинив перо острей,
все тайное в душе своей
певучей предавать огласке.

Порой слежу не без опаски
за резвою игрой стиха:
он очень мил, он просит ласки,
но далеко ли до греха?

Так одномесечный тигренок
по-детски мягок и пузат,
но как он щурится спросонок,
какие огоньки сквозят...

Нет, я боюсь таких котят.

Вам темным кажется сравненье?

Пожалуй выражусь ясней:
есть кровожадное стремленье
у музы ласковой моей –
пороки бичевать со свистом,
тигрицей прядать огневой,
впиваться вдруг стихом когтистым
в загривок пошлости людской.

Да здравствует сатира! Впрочем,
нет пищи для нее в глухом
журнальном мире, где хлопочем
мы о бессмертии своем.

Дни Ювенала отлетели.

Не воспевать же, в самом деле,
как за крапленую статью
побили Джонсона шандалом?

Нет воздуха в сем мире малом.

Я музу увожу мою.

Вы спросите, как ей живется,
привольно ль, весело? О да.

Идет, молчит, не обернется,
хоть пристают к ней иногда
сомнительные господа.

К иному критику в немилость
я попадаю оттого,
что мне смешна его унылость,
чувствительное кумовство,
суждений томность, слог жеманный,
обиды отзвук постоянный,
а главное – стихи его.

Бедняга! Он скрипит костями,
бренча на лире жестяной,
он клонится к могильной яме
адамовою головой.

И вообще: поэты много

о смерти ныне говорят;
венки и выцветшая тога –
обыкновенный их наряд.
Ущерб, закат... Петроний новый
с полуулыбкой на устах,
с последней розой бирюзовой
в изящно сложенных перстах,
садится в ванну. Все готово.
Уж вольной смерти близок час.
Но погоди! Чем резать жилу,
не лучше ль обратиться к мылу,
не лучше ль вымыться хоть раз?»

.....

Сей разговор литературный
не занимал меня совсем.
Я сам, я сам пишу недурно,
и что мне до чужих поэм?
Но этот облик, этот голос...
Нет, быть не может...
Между тем
заря с туманами боролась,
уже пронизывала тьму,
и вот к соседу моему
луч осторожный заструился,
на пальце вспыхнуло кольцо,
и подбородок осветился,
а погода и все лицо.

Тут я не выдержал: «Скажите,
как ваше имя?» Смотрит он
и отвечает: «Я – Ченстон».

Мы обнялись.

1931 г.

Слава

И вот, как на колесиках, вкатывается ко мне некто
восковой, поджарый, с копотью в красных ноздрях,
и сижу, и решить не могу: человек это
или просто так – разговорчивый прах.
Как проситель из наглых, гроза общежитий,
как зловещий друг детства, как старший шпион
(шепелявым таким шепотком: а скажите,
что вы делали там-то?), как сон,
как палач, как шпион, как друг детства зловещий,
как в балканской новелле влиянье – как их,
символистов, – но хуже. Есть вещи, вещи,
которые... даже... (Акакий Акакиевич
любил, если помните, «плевелы речи»,
и он как Наречье, мой гость восковой),
и сердце просится, и сердце мечется,
и я не могу. – А его разговор
так и катится острою осыпью под гору,

и картавое, кроткое слушать должно
и заслушиваться господина бодрого,
оттого что без слов и без славы оно.
Как пародия совести в драме бездарной,
как палач, и озноб, и последний рассвет –
о, волна, поднимись, тишина благодарна
и за эту трехсложную музыку. – Нет,
не могу языку заказать эти звуки,
ибо гость говорит – и так веско,
господа, и так весело, и на гадюке
то панама, то шлем, то фуражка, то феска:
иллюстрации разных существенных доводов,
головные уборы, как мысли вовне;
или, может быть – было бы здорово,
если б этим шутник указывал мне,
что я страны менял, как фальшивые деньги,
торопясь и боясь оглянуться назад,
как раздваивающееся привиденье,
как свеча меж зеркал, уплывая в закат.
Далеко от лугов, где ребенком я плакал,
упустив аполлона, и дальше еще,
до еловой аллеи с полосками мрака,
меж которыми полдень сквозил горячо.
Но воздушным мостом мое слово изогнуто
через мир, и чредой спицевидных теней
без конца по нему прохожу я инкогнито
в полыхающий сумрак отчизны моей.

Я божком себя вижу, волшебником с птичьей
головой, в изумрудных перчатках, в чулках
из лазурных чешуй. Прохожу. Перечтите
и остановитесь на этих строках.

Обращение к несуществующим: кстати,
он не мост, этот шорох, а цепь облаков,
и, лишённые самой простой благодати
(доходенья до глаз, до локтей, до висков),
«твои бедные книги, – сказал он развязно, –
безнадёжно растут в изгнании. Увы,
эти триста листов беллетристики праздной
разлетятся – но у настоящей листвы
есть куда упасть, есть земля, есть Россия,
есть тропа, вся в лиловой кленовой крови,
есть порог, где слоятся тузы золотые,
есть канавы, – а бедные книги твои,
без земли, без тропы, без канав, без порога,
опадут в пустоте, где ты вырастил ветвь,
как базарный факир, то есть не без подлога,
и недолго ей в дымчатом воздухе цвести.
Кто в осеннюю ночь, кто, скажи-ка на милость,
в захолустье русском, при лампе, в пальто,
среди гильз папиросных, каких-то опилок
и других озарённых неясностей, кто
на столе развернет образец твоей прозы,
зачитается ею под шум дождевой,
набегающий шум заоконной березы,

поднимающей книгу на уровень свой?

Нет, никто никогда на просторе великом

ни одной не помянет страницы твоей:

ныне дикий пребудет в неведенье диком,

друг степей для тебя не забудет степей.

В длинном стихотворении «Слава» писателя,

так сказать, занимает проблема, гнетет

мысль о контакте с сознанием читателя.

К сожаленью, и это навек пропадет.

Повторяй же за мной, дабы в сладостной язве

до конца, до небес доскрестись: никогда,

никогда не мелькнет мое имя – иль разве

(как в трагических тучах мелькает звезда)

в специальном труде, в примечаньи к названью

эмигрантского кладбища и наравне

с именами собратьев по правописанью,

обстоятельством места навязанных мне.

Повторил? А случилось еще, ты пописывал

не без блеска на вовсе чужом языке,

и припомни особенный привкус анисовый

тех потуг, те метанья в словесной тоске.

И виденье: на родине. Мастер. Надменность.

Непреклонность. Но тронуть не смеют. Порой

перевод иль отрывок. Поклонники. Ценность

европейская. Дача в Алуште. Герой».

И тогда я смеюсь, и внезапно с пера

мой любимый слетает анапест,
образуя ракеты в ночи – так быстра
золотая становится запись.
И я счастлив. Я счастлив, что совесть моя,
сонных мыслей и умыслов сводня,
не затронула самого тайного. Я
удивительно счастлив сегодня.
Эта тайна та-та, та-та-та-та, та-та,
а точнее сказать я не вправе.
Оттого так смешна мне пустая мечта
о читателе, теле и славе.
Я без тела разросся, без отзвука жив,
и со мной моя тайна всечасно.
Что мне тление книг, если даже разрыв
между мной и отчизною – частность?
Признаюсь, хорошо зашифрована ночь,
но под звезды я буквы подставил
и в себе прочитал чем себя превозмочь,
а точнее сказать я не вправе.
Не доверяюсь соблазнам дороги большой
или снам, освященным веками,
остаюсь я безбожником с вольной душой
в этом мире, кишасщем богами.
Но однажды, пласты разуменья дробя,
углубляясь в свое ключевое,
я увидел, как в зеркале, мир, и себя,
и другое, другое, другое.

Уэльслей, Масс., 1942 г.

Парижская поэма

«Отведите, но только не бросьте.

Это – люди; им жалко Москвы.

Позаботьтесь об этом прохвосте:

он когда-то был ангел, как вы.

И подайте крыло Никанору,

Аврааму, Владимиру, Льву –

смерду, князю, предателю, вору:

ils furent des anges comme vous.

Всю ораву, ужасные выи

стариков у чужого огня,

господа, господа голубые,

пожалейте вы ради меня!

От кочующих, праздно плутающих

уползаю, и вот привстаю,

и уже я лечу, и на тающих

рифмы нет в моем новом раю.

Потому-то я вправе по чину

к вам, бряцая, в палаты войти.

Хорошо. Понимаю причину, –

но их надо, их надо спасти.

Хоть бы вы призадумались, хоть бы

согласились взглянуть. А пока
остаюсь с привидением (подпись
неразборчива: ночь, облака)».

Так он думал без воли, без веса,
сам в себя, как наследник, летя.

Ночь дышала: вздувалась завеса,
облакам облаками платя.

Стул. На стуле он сам. На постели
снова – он. В бездне зеркала – он.

Он – в углу, он – в полу, он – у цели,
он в себе, он в себе, он спасен.

А теперь мы начнем. Жил в Париже,
в пятом доме по рю Пьер Лоти,
некто Вульф, худощавый и рыжий
инженер лет пятидесяти.

А под ним – мой герой: тот писатель,
о котором писал я не раз,
мой приятель, мой работодатель.

Посмотрев на часы и сквозь час
дно и камушки мельком увидя,
он оделся и вышел. У нас
это дно называлось: Овидий
откормлен (от «Carmina»). Муть
и комки в голове после черной

стихотворной работы. Чуть-чуть
моросит, и над улицей черной
без звездинки муругая муть.
Но поэмы не будет: нам некуда
с ним идти. По ночам он гулял.
Не любил он ходить к человеку,
а хорошего зверя не знал.

С этим камнем ночным породниться,
пить извозчичье это вино...
Трясогузками ходят блудницы,
и на русском Парнасе темно.
Вымирают косматые мамонты,
чуть жива красноглазая мышь.
Бродят отзвуки лиры безграмотной:
с кандачка переход на Буль-Миш.
С полурусского, полузабытого,
переход на подобье арго.
Бродит боль позвонка перебитого
в черных дебрях Бульвар Араго.
Ведь последняя капля России
уже высохла. Будет, пойдем.
Но еще подписаться мы силимся
кривоклювым почтамтским пером.

Чуден ночью Париж сухопарый.
Чу! Под сводами черных аркад,

где стена, как скала, писсуары
за щитами своими журчат.

Есть судьба и альпийское нечто
в этом плеске пустынном. Вот-вот
захлебнется меж четом и нечетом,
между мной и не мной, счетовод.

А мосты – это счастье навеки,
счастье черной воды. Посмотри:
как стекло несравненной аптеки –
и оранжевые фонари.

А вверху – там неважные вещи.
Без конца. Без конца. Только муть.
Мертвый в омуте месяц мерещится.
Неужели я тоже? Забудь.

Смерть еще далека (послезавтра я
все продумаю...), но иногда
сердцу хочется «автора, автора!».
В зале автора нет, господа.

И покуда глядел он на месяц,
синеватый, как кровоподтек,
раздался где-то в дальнем предместье
паровозный щемящий свисток.
Лист бумаги, громадный и чистый,
стал вытаскивать он из себя:
лист был больше него и неистовствовал,
завиваясь в трубу и скрипя.

И борьба показалась запутанной,
безысходной: я, черная мгла,
я, огни и вот эта минута –
и вот эта минута прошла.
Но как знать, может быть, бесконечно
драгоценна она, и потом
пожалю, что бесчеловечно
обошелся я с этим листом.
Что-нибудь мне, быть может, напели
эти камни и дальний свисток.
И, пошарив по темной панели,
он нашел свой измятый листок.

В этой жизни, богатой узорами
(неповторной, поскольку она
по-другому, с другими актерами,
будет в новом театре дана),
я почел бы за лучшее счастье
так сложить ее дивный ковер,
чтоб пришелся узор настоящего
на былое, на прежний узор;
чтоб опять очутиться мне – о, не
в общем месте хотений таких,
не на карте России, не в лоне
ностальгических неразберих, –
но, с далеким найдя соответствие,
очутиться в начале пути,

наклониться – и в собственном детстве
кончик спутанной нити найти.
И распутать себя осторожно,
как подарок, как чудо, и стать
серединою многодорожного
громогласного мира опять.
И по яркому гомону птичьему,
по ликующим липам в окне,
по их зелени преувеличенной
и по солнцу на мне и во мне,
и по белым гигантам в лазури,
что стремятся ко мне напрямик,
по сверканью, по мощи – прищуриться
и узнать свой сегодняшний миг.

Кембридж, Масс., 1943 г.

К кн. С. М. Качурину

1

Качурин, твой совет я принял
и вот уж третий день живу
в музейной обстановке, в синей
гостиной с видом на Неву.

Священником американским
твой бедный друг переодет,

и всем долинам дагестанским
я шлю завистливый привет.

От холода, от перебоев
в подложном паспорте не сплю:
исследователям обоев
лилеи и лианы шлю.

Но спит, на канапе устроюсь,
коленки приложив к стене
и завернувшись в плед по пояс,
толмач, приставленный ко мне.

2

Когда я в это воскресенье,
по истечении почти
тридцатилетнего затмения,
мог встать и до окна дойти;

когда увидел я в тумане
весны, и молодого дня,
и заглушенных очертаний
то, что хранилось у меня

так долго, вроде слишком яркой
цветной открытки без угла

(отрезанного ради марки,
которая в углу была);

когда все это появилось
так близко от моей души,
она, вздохнув, остановилась,
как поезд в полевой тиши.

И за город мне захотелось:

в истоме юности опять
мечтательно заныло тело,
и начал я соображать,

как буду я сидеть в вагоне,
как я его уговорю,
но тут зачмокал он спросонья
и потянулся к словарю.

З

На этом я не успокоюсь,
тут объясненье жизни всей,
остановившейся, как поезд
в шершавой тишине полей.

Воображаю щебетанье
в шестидесяти девяти

верстах от города, от зданья,
где запинаясь взаперти,

и станцию, и дождь наклонный,
на темном видный, и потом
захлест сирени станционной,
уж огрубевшей под дождем,

и дальше: фартук тарантасный
в дрожащих ручейках, и все
подробности берез, и красный
амбар налево от шоссе.

Да, все подробности, Качурин,
все бедненькие, каковы
край сизой тучи, ромб лазури
и крап ствола сквозь рябь листвы.

Но как я сяду в поезд дачный
в таком пальто, в таких очках
(и, в сущности, совсем прозрачный,
с романом Сирина в руках)?

4

Мне страшно. Ни столбом ростральным,
ни ступенями при луне,

ведущими к огням спиральным,
ко ртутной и тугой волне,

не заслоняется... при встрече
я, впрочем, все скажу тебе
о новом, о широкоплечем
провинциале и рабе.

Мне хочется домой. Довольно.
Качурин, можно мне домой?
В пампасы молодости вольной,
в техасы, найденные мной.

Я спрашиваю, не пора ли
вернуться к теме тетивы,
к чарующему «чапаралю»
из «Всадника без головы»,

чтоб в Матагордовом Ущелье
заснуть на огненных камнях,
с лицом, сухим от акварели,
с пером вороньим в волосах?

Кембридж, Масс., 1947 г.

Приложение

Андрей Бабилов

Возвращение «Супермена»

Набокова

Памяти Дональда Бартона Джонсона, щедрого и внимательного коллеги и друга

Первые годы Владимира Набокова в Америке стали одной из самых увлекательных и драматичных глав в истории приключений, выпавших на долю его жилистой музы. Выехав с женой и шестилетним сыном из оккупированной немцами Франции знаменитым русским писателем, Набоков в конце мая 1940 года сошел на пристань Нью-Йорка неизвестным иммигрантом средних лет, плохо представляющим себе литературные вкусы туземной публики. Привычка сочинять по-русски подтачивала его стремление перейти на заведомо менее послушный и богатый английский, вследствие чего новые книги не создавались ни на родном, ни на «приемном» языках. В 1940–1943 годах он брался за все, что могло спасти его писательскую жизнь: за уголовный роман (на английском), за вторую часть «Дара» (на русском), за теософскую инсценировку «Дон Кихота» для Михаила Чехова. Ни один из этих проектов не получил воплощения². Он писал рецензии и эссе для газет и журналов, лекции по литературе и драме для своих университетских выступлений, английские рассказы, статьи по энтомологии и мимикрии, литературную биографию Гоголя, переводил на английский Пушкина и Ходасевича, сочинял свои лучшие русские и выразительные английские стихи. При всей плодотворности его первых трех американских лет, взращенные на новой почве всходы казались последними ростками набоковского искусства, питавшимися старыми европейскими соками, и до 1947 года, когда, наконец, вышел его первый американский роман «Bend Sinister» («Левая перевязь» или «Под знаком незаконнорожденных»), Набоков не был уверен, что этих соков хватит на еще одну книгу. Его литературная карьера в Новом Свете началась по-старому: как в Берлине 20-х годов он помещал в эмигрантских газетах и журналах стихи и рецензии, так и теперь он рад был любой возможности заявить о себе в каком-нибудь культурном повременном издании, редактор которого почти наверняка не смог бы верно произнести его фамилию. Сверх того, Mister Nabakov или Mister Nobokov должен был мириться с тем, от чего давно отвык, – с отказами редакций печатать его сочинения. Друг Набоковых, видный общественный деятель эмиграции А. А. Гольденвейзер, обосновавшийся в США в 1937 году, в письме к Марку Алданову от 13 сентября 1940 года передавал слова Набокова после встречи с ним в Нью-Йорке: «Сирин жаловался, что американские издатели дают авторам подробные инструкции: о чем писать, кого хвалить и кого ругать, какую развязку дать роману и т. д. На темы о

русских беженцах никакого спроса нет: устарели»³. Впрочем, даже самые американские и свежие темы не всегда могли служить новому произведению надежным пропуском в хороший журнал. В первой половине июня 1942 года Набоков, к тому времени два года проживший в США и опубликовавший несколько поэтических произведений в американских журналах, сочинил длинное стихотворение «The Man of To-Morrow's Lament» (буквально «Жалоба Человека Будущего») – монолог героя комиксов Супермена, ставшего необыкновенно популярным с 1938 года, когда начала выходить серия рисованных историй «Action Comics». Русский читатель вспомнит только того Супермена у Набокова, которого упоминает Гумберт Гумберт в стихах, обращенных к сбежавшей от него Лолите:

Кто твой герой, Долорес Гейз?

Супермен в голубой пелерине?

Хороший англоязычный читатель припомнит мимолетное сравнение Хью Персона с парящим Суперменом в позднем коротком романе Набокова «Сквозняк из прошлого» («Transparent Things», 1972); Супермен же 1942 года до сих пор никому не был известен.

В письме к влиятельному американскому критику Эдмунду (Банни) Уилсону, принимавшему деятельное участие в литературной и академической карьере своего русского друга в США, Набоков 16 июня этого года⁴ обмолвился о своем новом сочинении: «Я получил письмо от Пирса, он очень мило попросил у меня еще виршей, и я послал ему стихи, которые сочинил по твоему наущению и которые прилагаю»⁵.

Чарльз Пирс (1906–1970), совладелец интеллигентного нью-йоркского издательства «Duell, Sloan & Pearce», редактор поэтического отдела «Нью-Йоркера», уже принял к публикации «Пробуждение холодильника» («The Refrigerator Awakes»), замысловатое, смелое, щеголяющее изобретательной игрой слов стихотворение, написанное Набоковым в конце 1941 года, и сатирический «Званный литературный обед» («A Literary Dinner»), напечатанный в апреле 1942 года. Окрыленный, Набоков послал в «Нью-Йоркер» свои новые английские «вирши», тему которых ему (в шутку или всерьез) подсказал Уилсон.

Своего «Супермена» Набоков сопроводил следующим письмом, датированным 18 июня 1942 года:

Дорогой г-н Пирс, благодарю вас за милое письмо. Шлю вам стихи о горестях Супермена из комиксов (с извинениями, если таковые требуются, перед его создателями). Хочу повторить, что я переживаю самые ужасные трудности и страдания, берясь за новый для меня язык – после 25 лет старого доброго русского. Если все же вещь вам подходит – в целом не слишком неверна грамматически и не слишком непристойна в средоточии ее милостейб, – мог бы я смиренно запросить гонорар, настолько отвечающий моему русскому прошлому и моим

настоящим мукам, насколько это возможно? Я перевел свой [русский] рассказ, который, по мнению Уилсона, может подойти для вашего журнала⁷; я заметил, однако, что он намного длиннее (8500 слов), чем все то, что вы обычно печатаете, и он не может быть прокрустинирован⁸. Если все же вы полагаете, что вам было бы любопытно взглянуть на него, я с радостью вышлю его вам.

Искренне ваш,

В. Набоков

Пришедший от Пирса на бланке «Нью-Йоркера» ответ (письмо от 25 июня 1942 года) представлял собой столь же милый, сколь и категорический отказ публиковать набоковского Человека Будущего – как создатели Супермена называли своего героя на страницах комиксов.

Дорогой г-н Набоков,

с вашей стороны было очень любезно так быстро отозваться на мою просьбу, и от этого мне вдвойне трудно сообщить вам то, что приходится сказать: «Жалоба Человека Будущего» отклонена. Большинство из нас пришли к мнению, что многие наши читатели не смогут понять эту вещь как следует. И еще, помимо этого, есть та проблема, которую вы предвидели, со строками в середине стихотворения.

Как бы там ни было, все мы полагаем, что вы пишете довольно замечательные вещи, и вопреки вашим опасениям, вы обращаетесь с английским языком на удивление хорошо. Надеюсь, у нас будет возможность получить от вас что-нибудь еще в скором времени.

Вы правы, предполагая, что рассказ в 8500 слов для нас немного длинноват, но я очень надеюсь, что вы пришлете его нам и позволите нам взяться за него. Могу ли я рассчитывать на это?

Искренне Ваш, Ч. А. Пирс⁹

Расположенный к Набокову Пирс, конечно, не мог предполагать, что из-за отказа «Нью-Йоркера» публикация первого, по-видимому, в истории стихотворения о Супермене при жизни автора так и не состоится. Не мог он предвидеть и того, что к концу 50-х годов его подопечный, пишущий «довольно замечательные вещи», станет всемирно известным писателем, единственным в своем роде классиком двух литератур, дразнящей загадкой для сведущих читателей и знатоков его искусства и что одной из выпавших страниц его творческой биографии окажется именно это, отвергнутое летом 1942 года стихотворение.

В написанной Брайаном Бойдом подробной аналитической биографии Набокова об этих стихах сказано следующее:

В середине мая [1942 года] к Набокову приехал Джеймс Лохлин и заказал ему, заплатив небольшой аванс, том поэтических переводов из Пушкина и Тютчева, а также литературоведческую работу о Гоголе в 200 страниц. Набоков сразу же погрузился в книгу о Гоголе, надеясь отослать готовую рукопись издателю к середине июля. Чтобы немного отвлечься, он по совету Эдмунда Уилсона написал стихотворение под названием «Жалоба Человека Будущего»: в брачную ночь Супермена сила [этого] Стального Человека взрывает его свадебные апартаменты. Увы, бедная Лоис! Чопорный «Нью-Йоркер» отказался печатать стихи, и рукопись не сохранилась¹⁰.

Еще раньше о набоковском Супермене писал первый биограф Набокова Эндрю Фильд. В 1977 году он лишь коротко отметил, что «некоторые произведения Уилсона и Набокова, созданные на протяжении 40–50-х годов, по тем или иным причинам не подходили для “Нью-Йоркера” (как, например, “Округ Геката” Уилсона или стихотворение Набокова о брачной ночи Супермена и Лоис Лейн)»¹¹. В более поздней книге, описывая пребывание Набокова в негритянском женском колледже гуманитарных наук (колледж Спелмана, Атланта, штат Джорджия), Фильд снова коснулся нашего сюжета:

<...> Набоков должен был ехать в Ричмонд, но из-за устроенной там светомаскировки, применявшейся в военное время, его лекции отменили. Вместо Ричмонда организатор лекционного тура отправил Набокова в колледж Спелмана <...> То, что должно было стать только короткой остановкой в пути, с лекциями в обмен на харчи и ночлег, оказалось одним из его самых успешных посещений, и он был приятно удивлен, когда в конце получил свой обычный гонорар, сто долларов. <...> В университетском журнале «Spelman Messenger» (ноябрь 1942 года) появилась длинная статья о различных выступлениях и чтениях Набокова, на одном из которых прозвучало «несколько фривольное стихотворение о Супермене». В стихах описывался взрыв в гостинице для молодоженов, в которой Супермен провел свою брачную ночь (незадолго до этого стихи были отклонены «Нью-Йоркером») ¹².

Дважды упоминая набоковское стихотворение, Фильд, в отличие от Бойда, не приводит его название, но само его содержание и причина, по какой оно было отвергнуто журналом, у двух биографов совпадают. Не зная текста «Человека Будущего», Фильд, а затем и Бойд изложили его сюжет, по всей видимости, по набоковским заметкам, отправленным Фильду в 1973 году, когда последний, допустив множество ошибок и искажений в первой биографии писателя, работал над новой версией своей книги. Вполне возможно, что эти стихи Набокову именно так и запомнились и что тридцать лет спустя ему казалось, что его Супермен действительно провел брачную ночь в гостинице, которую разрушил взрыв его чудовищной страсти. На самом деле, как мы увидим, в этих стихах Супермен даже не прикасается к Лоис, а лишь воображает вероятные последствия своей любовной связи с хорошенькой репортершей из «Daily Planet». Занятно, что Фильд не задался вопросом, отчего эти стихи показались слишком рискованными светскому «Нью-Йоркеру»,

но были вполне приемлемыми для публичного чтения в пуританском женском колледже после воскресной службы в баптистской капелле? Атмосферу набоковского пребывания в колледже Спелмана передают его подробные письма к жене. 7 октября он сообщал:

Любовь моя,

пишу тебе из черного Wellesley¹³ – колледжа для негритянок, куда меня загнал Фишер из-за того, что в Ричмонде случилось военное затемнение и тамошняя лекция отложена. <...> Тут я пробуду до вторника, читая лекции за квартиру и харчи. Квартира прекрасная и президентша премилая, – и завтра еду с биологичкой <...> собирать бабочек в окрестностях, – но в конце концов мое good time¹⁴ сводится к потере оного. <...>¹⁵

11 октября он рассказывал о ежедневном посещении капеллы и своих выступлениях:

Мисс Рид, начальница колледжа, очень симпатичная, круглая, с бородавкой у ноздри, не слишком идейная женщина: каждое утро я брекфастую у нее (с разговорами о негритянской проблеме и телепатии) и каждое утро в 9 часов вынужден посещать с ней chapel и сидеть с ней в академическом плаще на сцене лицом к четыремстам девицам, распеваящим гимны среди органной бури. Я взмолился – что, мол, еретик, что ненавижу всякое пение и музыку, но она строго возразила: ничего, у нас полюбите. В мою честь выбирают молитвы, благодарящие Бога <...> Лекция моя о Пушкине (негритянская кровь!) встречена была с почти комическим энтузиазмом. Я решил ее закончить чтением «Моцарта и Сальери», а так как здесь не токмо Пушкин, но и музыка в большой чести, у меня явилась несколько озорная мысль вбутербродить скрипку, а затем рояль в тех трех местах, где Моцарт (и нищий музыкант) производит музыку. При помощи граммофонной пластинки и пианистки получился нужный эффект – опять-таки довольно комический. Кроме того, я побывал в биологическом классе, рассказывал о мимикрии, а третьего дня поехал с профессоршей и группой очень черных, очень интенсивно жующих мятную резинку барышень в деревянном шарабане–автомобиле собирать насекомых миль за двадцать отсюда¹⁶.

12 октября, накануне отъезда из колледжа, он сообщал новые подробности:

Душенька моя дорогая,

посылаю моему Митюшеньке замечательную хвостатую гесперида, а тебе чек на 100 долл., который мне довольно неожиданно дали здесь, в Spelman, хотя было условлено, что мое красноречие лишь окупает комнату и стол. Вообще я здесь окружен трогательнейшим почетом, художники показывают мне свои фиолетовые полотна, скульпторы – своих толстогубых богородиц, а музыканты поют мне «spirituals»¹⁷.

О своем чтении «Супермена» (ставшем, по-видимому, первым публичным чтением стихотворения) и реакции на него слушателей Набоков в этих письмах не сообщает. Следуя за отсылкой Фильда в поисках более подробных сведений о набоковских выступлениях в Спелмане, мы обратились к ноябрьскому выпуску «Спелмановского курьера». Центральное место в нем занимает длинный редакторский очерк «Владимир Набоков посетил Спел-ман». Приведем большой отрывок из него, который довольно неожиданно служит отличным введением к публикации набоковского «Супермена»:

В то самое время, когда утренние газеты обратили мысли студентов к России новостями о героической обороне Сталинграда, – так начинается очерк, – в колледж Спелмана прибыл настоящий русский, знаменитый романист, поэт и критик Владимир Набоков. Уже одного простого факта, что Набоков – соотечественник солдат, о которых сегодня писали в газетах, было довольно для того, чтобы привлечь внимание учащихся, собравшихся в Мемориальном Зале Гова на его первую лекцию «Художник и здравый смысл»¹⁸. Но не прошло и четверти часа, как стало ясно, что перед нами необыкновенно динамичная натура, и с этого времени и до его отъезда шесть дней спустя <...> г-н Набоков был на кампусе главной темой. <...> Набоков без особых церемоний приступил к своему предмету: проблема конфликта между творческим воображением и здравым смыслом. Не существует никакой действительной связи между искусством и интеллектом, заверил русский писатель своих слушателей. Чтобы создать произведение искусства, художник должен иметь мужество дать волю своему воображению, должен осмелиться жить в мире, который он создал. Не имеет значения, совместим ли этот мир воображения с требованиями разума или нет, утверждал он. Писатель или художник должен хранить себе верность, выражая свое сокровенное без оглядки на то, что об этом могут подумать другие. <...>

Что он никоим образом не выступает за поэтическую распущенность в связи со своей теорией раскованного вдохновения, г-н Набоков очень ясно дал понять на следующее утро, когда прочитал в капелле несколько своих стихотворений. Написанные изначально по-русски и переведенные на английский язык, стихи носили глубоко серьезный характер и выражали в благородном и размеренном стиле поступь времени и рока, а также хрупкость человеческой природы перед лицом колоссальных мировых потрясений. Хотя они и были совершенно свободны в своем течении, стихи обладали изяществом выражения и отделки, что свидетельствовало о том, что г-н Набоков не считает, что художник должен отвергать тяжелый труд, когда отвергает приверженность принципам здравого смысла. <...>

Владимир Набоков и что он за человек – вот что стало предметом общего внимания на восхитительном воскресном вечере в доме президента, на котором присутствовали студентки и другие члены колледжа. Неофициальная атмосфера придавала пикантность прочитанным стихам и последовавшей затем веселой беседе. Лирические произведения, начиная с ностальгического «Прощай»¹⁹ – тема, в которой выразилась его печаль из-за необходимости оставить родное наречие, «чтобы вырезать стихи из грубой скалы, ощупью пробираясь в

новый язык», – до несколько фривольного стихотворения о Супермене, вызвали восторженные отклики в зале и в то же время чувство глубокой признательности к этому человеку и большого уважения к его артистизму. Естественность Набокова могла бы обезоружить всякого, заставив забыть, что перед нами, по словам критика Извольской, «определенно самый талантливый молодой русский писатель–эмигрант наших дней»²⁰, если бы между прочим сделанный поразительный комментарий не показал феноменальную восприимчивость Набокова к окружающему миру. <...>²¹

Из обзора набоковских выступлений в этом примечательном очерке следует, что «Супермена» он прочитал в доме главы колледжа (Флоренс Рид) «на закуску», после нескольких других, более элегических и автобиографических вещей. Стихотворение не вызвало среди аудитории негодования или смущения, а, напротив, имело восторженный отклик и заслужило упоминания на страницах университетского журнала. Отказ Пирса от его публикации, как мы можем теперь предположить, был продиктован не столько безобидным игривым подтекстом в нем, сколько затрудняющей понимание многослойностью его содержания, о чем он сказал в начале своего письма. Шекспировская аллюзия в письме Набокова к Пирсу призвана была, на наш взгляд, подготовить редактора «Нью-Йоркера» к восприятию стихотворения, в котором Супермен о своей скромной человеческой эманации, Кларке Кенте, отзывается так: «a banished trunk (like my namesake in “Lear”）」 – отверженное тулово (как мой тезка в «Лире»). Слова взяты из первой сцены первого акта трагедии Шекспира, в которой помрачившийся рассудком Лир изгоняет из королевства справедливого и смелого графа Кента и предостерегает его: «если на десятый день / Твое отверженное тулово заметят в наших владениях, / В тот же миг тебя ждет смерть». Создатели Супермена, автор историй Джерри Сигел и иллюстратор Джо Шустер, взявшие для своего героя имена у двух голливудских звезд, Кларка Гейбла и Кента Тейлора, были бы, пожалуй, сильно удивлены и польщены, узнав, что иностранный писатель не только сочинил об их Стальном Человеке стихи, но и связал его с самим Шекспиром.

Еще одно, возможно решающее обстоятельство, предопределившее отказ «Нью-Йоркера», состояло, по всей видимости, в том, что произведение едва-едва осевшего в Америке русского эмигранта выставляло непобедимого Супермена в комичном свете, причем в то самое время, когда после вступления США во Вторую мировую войну в декабре 1941 года герой в синем трико и красном плаще стал символом американской военной мощи и начал сражаться в условной Европе комиксов с диктаторскими режимами. Так, в мартовском выпуске «Супермена» 1942 года (№ 15) была помещена история о вторжении Супермена в страну Оксналию (на боевых аэропланах которой изображалась свастика), захватившую маленькую Нумарку. Озабоченный мировым господством диктатор Razkał (прозрачный намек на англ. rascal – негодяй, мошенник), с усиками и прядью Гитлера, бросает на Супермена целую армию, которую тот сокрушает голыми руками. Водворив в Европе мир и справедливость, он со словами «My mission done – it’s back to the United States for me!!» («Моя миссия исполнена – мне пора возвращаться в Соединенные Штаты!!») переносится обратно в

Метрополис (сильно напоминающий Нью-Йорк), где принимает свой номинальный образ газетного репортера Кларка Кента.

Набоков хотя и положил в основу своего стихотворения следующий, майский выпуск комиксов (как мы покажем далее), по всей видимости, листал и предыдущий, на что указывают его строки о пакте между миром Фантазии и Фактов, который не позволяет Супермену объявиться в Берхтесгадене (в этом баварском местечке с 1933 года располагалась резиденция Гитлера): в вымышленном мире комиксов Супермен вершил суд над Рэзкалом, пока в реальном мире Гитлер вторгся во вполне определенные страны, в которых гибли настоящие люди. В неожиданном упоминании Берхтесгадена можно было усмотреть намек на критику американских властей, которым следовало столь же решительно, как рисованному герою, вмешаться в ход войны, сократив расхождение между вымыслом и явью.

В еще более глубоком слое содержания этого сложного произведения сам Супермен, сверхчеловек, соотнесен с Гитлером – упомянутая в девятой строчке «темно-синяя прядь на узком лбу» (в комиксах блестящие черные волосы Супермена действительно подкрашивались синим, как и волосы Рэзкала) не может не напомнить о Гитлере, уже высмеянном Чарли Чаплином в «Великом диктаторе» (1940). «Роковое ограничение» Супермена, обреченного на одиночество и лишенного возможности иметь потомство, наводит на мысль о тонко проведенной антидарвинистом Набоковым ассоциации между американским супергероем и бесплодным немецким *Übermensch*'ем, под стать которым ироничный творец не создал подходящей сверхженщины, способной произвести на свет сверхребенка. Так Человек Будущего у Набокова парадоксальным образом остается без будущего, а все человеческое в нем сосредоточено в его малолюбопытной ипостаси – в «отверженном тулове» застенчивого, обыкновенного, носящего очки репортера Кларка Кента, мечтающего стать «нормальным парнем».

Выпуски «Супермена» были любимым чтением восьмилетнего сына Набокова Дмитрия. Летом 1942 года Набоковы гостили в Вермонте на даче гарвардского историка Михаила Карповича, откуда Вера Набокова, оставив на время мужа и сына, в начале августа уехала в Кембридж (Массачусетс), чтобы подыскать для семьи новую квартиру. Набоков в дни разлуки сочинял английскую книгу о Гоголе и сообщал жене о своих отцовских радостях:

Он великолепно сегодня играл в мяч; расправил пять бабочек и написал сам этикетки; построил с Маришей новый дом; купил нового Супермана <sic>, которого я ему читал перед сном; очень много ест и засыпает мгновенно. Погода отвратительная: довольно ясно, такое судорожное солнце и непрерывный ветер. Я тебя люблю. Ночниц нет – т. е. невозможно отворять окно – так дует. Вообще, довольно бездарное лето, но ему идет впрок. Читал ему «Нос» – он очень смеялся, но предпочитает Супермана <sic>22.

Занятное соседство американских комиксов с гоголевским «Носом» объясняет источник следующего места в набоковской книге о Гоголе

(гл. 3), вышедшей в небольшом американском издательстве «New Directions» в 1944 году: «“Супермен”, несомненно, пошлость, но это пошлость в такой мягкой, незатейливой форме, что о ней не стоит и говорить; сказки былых времен, если уж на то пошло, содержали столько же тривиальных сантиментов и наивной вульгарности, сколько и эти байки о современных Убийцах Гигантов» (перевод мой).

В приведенном письме к жене был упомянут, по-видимому, свежий, семнадцатый выпуск «Супермена» (июль–август), Набокова же вдохновил на стихи предыдущий выпуск (май–июнь), истории из которого, вполне возможно, он тоже читал сыну, объясняя ему идиоматические выражения и новые слова. Не зная этого обстоятельства, невозможно по-настоящему оценить ту часть стихотворения, в которой набоковский Супермен представляет себе развитие своего сына, способного, как гигантские дети в «Пище богов» (1904) Уэллса, разрушить целый город²³. Воображая взросление своего ребенка, год за годом набирающего баснословную силу, Кент останавливается на девятилетнем возрасте («в восемь лет он сокрушил бы самую длинную железнодорожную линию, / играя в “паровозики” настоящими вагонами, а в девять / освободил бы из тюрьмы всех моих старых врагов»), и как раз девятый год жизни собственного сына, родившегося 10 мая 1934 года в Берлине, Набоков наблюдал в июне 1942 года, когда сочинил стихи о Супермене. Эта деталь не только неожиданно связывает «сына Супермена» с Давидом, замученным ребенком философа Адама Круга в романе «Bend Sinister» (тоже насыщенном шекспировскими аллюзиями), но и открывает в набоковском «Человеке Будущего» еще один, автобиографический, план. В гротескном мире супергероев и суперзлодеев, спасителей человечества и губителей цивилизации, недостает одной важной вещи – обычной человеческой любви и заботы, без которых все циклопические подвиги и сама цивилизация лишены смысла. Таковы другие, жанровые ограничения этого циркового homo superior'a в синих рейтузах, видящего своим клишированным сознанием даже в собственном сыне только соперника и угрозу и не учитывающего главного – его детской любознательности и мальчишеской отваги. И таково угрюмое бесплодие всех этих «пустынь неискусства» (говоря словами Вана Вина, героя романа Набокова «Ада, или Отрада», 1969²⁴), предлагающих своей аудитории что угодно, кроме поэзии. Упомянув первый американский роман Набокова «Bend Sinister» (название представляет собой геральдический термин, но основное значение англ. sinister – зловеший), нельзя не отметить, что в одной из историй того же шестнадцатого выпуска «Супермена» герою противостоял омерзительный злодей Mister Sinister. Его серая накидка, серая лысая голова и жабье лицо могли повлиять на образ гнусного диктатора Падука по прозвищу Toad (жаба, отвратительный человек), облаченного в романе в серое полевое сукно («Участок волос на макушке его шишковатой, синеватой, бритой головы был тщательно расчесан и разделен надвое»). В гл. 17 «Bend Sinister» обнаруживается еще один отголосок набоковского знакомства с комиксами: «У него [у Круга] пульсирующей болью болела голова: тот вид мигрени, при которой кажется, что боль выходит за пределы одной части головы, как краски в дешевых комиксах, и не полностью заполняет пространство другой ее части» (перевод мой).

В техническом отношении стихотворение, состоящее из 46 строк и

написанное традиционными героическими двустихиями, предвосхищает поэму Джона Шей-да «Бледный огонь» из одноименного романа (1962) Набокова. Причем, как и в стихах о Супермене, в поэме Шейда, что показал Б. Бойд («“Бледный огонь” Владимира Набокова. Волшебство художественного открытия»), скрытой и ведущей темой оказывается судьба ребенка. Помимо своих любопытных особенностей – свежего замысла, необычной формы, развивающей прием внутреннего монолога, используемый в комиксах для сообщения читателю о намерениях героя, – публикуемое стихотворение оказывается настоящим подарком для исследователя. Это, по-видимому, единственное произведение Набокова, источник которого не только устанавливается с безусловной точностью, но и нисколько не скрывается самим автором. Фабула («поток сознания» и ламентации Супермена), место действия (Метрополис), персонажи (Кларк Кент и Лоис Лейн), детали (очки, бронзовая статуя) и даже хорошо поддающиеся версификации слова восхищенной Лоис взяты с обложки шестнадцатого выпуска «Супермена». Стихи Набокова представляют собой сатирическую и поэтическую интерпретацию изображенной на обложке сценки, дополненную размышлениями Супермена о катастрофических последствиях его любовной связи с Лоис (не подозревающей, кем именно является ее сослуживец по «Дейли Плэнет»). Саму идею написать стихи от имени Супермена, то есть сделать его поэтом, Набоков мог почерпнуть из истории о мистере Синистере в том же выпуске комиксов. Находясь с Лоис в типографии, Кент требует напечатать сенсационный материал, и его речь комичным образом становится подозрительно ритмичной: «We've heard your warnings, here's the answer: we'll print that story despite you, mister!» («Нам ваши опасения известны, и вот ответ: сюжет мы этот тиснем, – хотите, мистер, вы того или нет!»), на что Лоис немедленно обращает внимание: «Why, Clark – you're a poet!» («Ну и ну, Кларк, да ты поэт!»). Из сопоставления обложки со стихами Набокова следует, что слова Супермена «Ох, мне наскучило слоняться здесь без дела» относятся к его городским блужданиям в образе обычного человека, облаченного в приличный костюм и шляпу; что Набоков точно подметил главную деталь в облике репортера Кента, отсутствующую у Супермена, – Кент носит очки, причем вовсе не ради маскировки, а чтобы, как воображает Набоков, бросая страстные взгляды на Лоис, не видеть ее внутренностей, пульсирующих легких и печени (в одной из историй шестнадцатого выпуска Супермен, используя свое суперзрение, видит сквозь стены укрывшихся злодеев). Позднее в «Лолите» Гумберт Гумберт будет мечтать «приложить жадные губы к молодой маточке, неизвестному сердцу, перламутровой печени, морскому винограду легких» своей юной зазнобы, как если бы он, подобно Супермену, видел ее насквозь. Наконец, заключительная реплика Лоис, проходящей мимо статуи Супермена, – «Oh, Clark... / Isn't he wonderful!?!» («О, Кларк... / Разве он не чудесен!?!») – слово в слово взята с той же обложки, вплоть до воспроизведения эмоционального ряда знаков препинания. И в точности как изображено на ней, Кларк у Набокова продолжает прямо смотреть перед собой, не поворачивая головы в сторону сияющей в идиотическом торжестве бронзовой статуи, воздвигнутой благодарными горожанами в память о подвигах супергероя. Даже такая деталь, как желтое небо, на фоне которого Кларк и Лоис прогуливаются в парке, не ускользнула от внимания Набокова, незадачливый герой которого, размышляя о своей неполноценности, говорит так: «где я бы ни летал, / в красном плаще, синих рейтузах, по желтому небу, / я не

чувствую никакого трепета...» Рифмованный перевод наполненных до краев набоковских стихов – всегда «плач об утерянных сокровищах». Сам Набоков отдавал предпочтение бедным, но честным дословным переводам стихов, без рифм, а порой и без соблюдения метрики, и таким скромным полупрозаическим переложением я сперва и хотел ограничиться, принимаясь за «Человека Будущего». По ходу работы я все же взял несколько аккордов на пробу, после чего решил доиграть эту мелодию до конца – к подстрочному переводу я прилагаю рифмованный, озаглавленный иначе: «Жалобная песнь Супермена». В русском переводе трудно выдержать гнетуще-монотонный строй оригинала, гипнотический *basso ostinato* героя, поддерживаемый тремя рядами длинных перечислений (наружности и оборотневых атрибутов Супермена; разрушительных последствий его страсти; этапов бурного взросления его сына), и сохранить при этом политические намеки и литературные отсылки. А они возникают уже в самом названии стихотворения: слово «lament» означает не только «горестное стенание», но и «жалобную песнь» – старинный элегический жанр лирико-драматической импровизации в стихах, связанный с похоронами, свадьбами, неурожаем и разными бедствиями.

Копию машинописного текста набоковского стихотворения с рукописными исправлениями (подписанный оригинал был послан редактору Пирсу) я обнаружил в обширном архиве Эдмунда Уилсона в библиотеке редких книг и рукописей Бейнеке Йельского университета (Edmund Wilson Papers. Box 170, folder 4246). Вложенные Набоковым в письмо от 16 июня 1942 года, стихи были помещены в отдельную папку вместе с другими его поэтическими и прозаическими сочинениями и журнальными вырезками, которые слались «дорогому Банни» в разные годы. В этой папке «Человек Будущего» пролежал без малого восемьдесят лет и уцелел, как и положено Супермену, чтобы, наконец, увидеть свет в оригинале и в нашем русском переводе.

Первая публикация: Andrei Babikov. Superman Returns. An Unpublished Poem by Vladimir Nabokov // The Times Literary Supplement. 2021. March 5. P. 15.

Выражаю сердечную признательность Ольге Ворониной, приславшей мне копии неопубликованных писем Набокова и Пирса, Брайану Бойду, Стивену Блэквеллу и Станиславу Швабрину за обсуждение настоящей работы, а также Джеймсу Пуллену, представляющему интересы «The Wylie Agency», за любезное разрешение опубликовать это стихотворение Набокова.

The Man of To-Morrow's Lament

I have to wear these glasses – otherwise,
when I caress her with my super-eyes,
her lungs and liver are too plainly seen
throbbing, like deep-sea creatures, in between

dim bones. Oh, I am sick of loitering here,
a banished trunk (like my namesake in "Lear"),
but when I switch to tights, still less I prize
my splendid torso, my tremendous thighs,
the dark-blue for<e>lock on my narrow brow,
the heavy jaw; for I shall tell you now
my fatal limitation... not the pact
between the worlds of Fantasy and Fact
which makes me shun such an attractive spot
as Berchtesgaden, say; and also not
that little business of my draft; but worse:
a tragic misadjustment and a curse.

I'm young and bursting with prodigious sap,
and I'm in love like any healthy chap –
and I must throttle my dynamic heart
for marriage would be murder on my part,
an earthquake, wrecking on the night of nights

Жалоба Человека Будущего

Мне приходится носить эти очки, иначе,
когда я ласкаю ее своим супервзором,
ее легкие и печень видны слишком отчетливо,
пульсирующие, как глубоководные твари, между
тусклых костей. Ох, мне наскучило слоняться здесь без дела,

отверженное тулово (как мой тезка в «Лире»),
но когда я переодеваюсь в трико, я еще меньше дорожу
своим великолепным торсом, мощными бедрами,
темно-синей прядью на узком лбу,
тяжелой челюстью, ибо я связан роковым ограничением,
о котором я собираюсь поведать... нет, не пакт
между миром Фантазии и миром Фактов,
который заставляет меня избегать такого притягательного места,
как, скажем, Берхтесгаден; а также не
это дельце моего почина, но хуже:
трагическое несоответствие и проклятие.

Я молод и исполнен необычайных сил,
и я влюблен, как всякий здоровый малый –
и я должен обуздать свое энергичное сердце,
поскольку женитьба стала бы убийством с моей стороны,
землетрясением, уничтожающим в самую главную ночь
a woman's life, some palm trees, all the lights,
the big hotel, a smaller one next door
and half a dozen army trucks – or more.

But even if that blast of love should spare
her fragile frame – what children would she bear?
What monstrous babe, knocking the surgeon down,
would waddle out into the awestruck town?
When two years old he'd break the strongest chairs,
fall through the floor and terrorize the stairs;

at four, he'd dive into a well; at five,
explore a roaring furnace – and survive;
at eight, he'd ruin the longest railway line
by playing trains with real ones; and at nine,
release all my old enemies from jail,
and then I'd try to break his head – and fail.

So this is why, no matter where I fly,
red-cloaked, blue-hosed, across the yellow sky,
I feel no thrill in chasing thugs and thieves –
and gloomily broad-shouldered Kent retrieves
his coat and trousers from the garbage can
and tucks away the cloak of Superman;
and when she sighs – somewhere in Central Park
where my immense bronze statue looms – “Oh, Clark...
Isn't he wonderful!?!”, I stare ahead
and long to be a normal guy instead.

Vladimir Nabokov

<June 1942>

жизнь женщины, несколько пальм, все городское освещение,
большой отель, соседний отель поменьше
и полдюжину армейских грузовиков – или больше.

Но даже если этот взрыв любви пощадит
ее хрупкое тело, – каких детей она родит?

Что за чудовищный младенец, сбив хирурга с ног,
проковыляет в охваченный благоговейным страхом город?
Двух лет от роду он ломал бы самые крепкие стулья,
под ним бы проваливался пол и шатались лестницы;
в четыре он нырнул бы в колодец; в пять
обследовал бы ревущую печь – и остался невредим;
в восемь лет он сокрушил бы самую длинную
железнодорожную линию,
играя в «паровозики» настоящими вагонами, а в девять
освободил бы из тюрьмы всех моих старых врагов,
и тогда я попытался бы проломить ему голову – но тщетно.

Вот почему, где я бы ни летал,
в красном плаще, синих рейтузах, по желтому небу,
я не чувствую никакого трепета в преследовании громил и воров, –
и мрачно широкоплечий Кент достает
из мусорного бака пиджак со штанами
и прячет плащ Супермена;
а когда она вздыхает – где-то в Центральном парке,
где маячит моя громадная бронзовая статуя – «О, Кларк...
Разве он не чудесен?!», я не поворачиваю головы
и мечтаю быть обычным парнем.

Владимир Набоков

<июнь 1942>

Жалобная песнь Супермена

Я вынужден носить очки, иначе
состав ее для суперглаз прозрачен –
желудок, легкие рисуются извне,
как каракатицы, дрожащие на дне,
между костей. Мне тошно в этом мире –
«изгоя тело» (как у тезки в «Лире»),
но и трико надев, клянусь судьбу,
свой торс могучий, бедра, прядь на лбу
чернильно-синюю, поскольку мне положен
губительный предел... Теперь изложим.
Нет, речь не о суровых пунктах пакта
меж двух миров, Фантазии и Факта,
мешающего мне, будь он неладен,
наведаться, к примеру, в Берхтесгаден,
и не о миссии моей, но хуже, да, –
несоответствие, трагедия, беда.

Я полон соков, силы небывалой,
и я влюблен, как всякий крепкий малый,
и эту мощь я обуздать обязан,
поскольку брачной ночи предугазан
один исход – сгубив свою жену,
землетрясеньем я отель смету,
ряд пальм, электростанцию, шоссе,
армейских тягачей пять-шесть, иль все.

А коль жену взрыв страсти не убьет, –
каких детей союз наш принесет?
Что за чудовище, свалив хирурга с ног,
проковыляет в стихший городок?
В два года, топнув, он пробил бы пол;
сквозь стену бы в четыре он прошел;
обследовал кипящий горн лет в пять;
в колодец стал бы, жив-здоров, нырять;
лет в семь для игр унес бы паровоз
со станции; а в девять бы попрос
и всех моих врагов пустил на волю;
тогда схвачусь я с сорванцом – и взвою.

Вот почему, где б в красной епанче,
рейтузах синих, в золотом луче
я ни летал, преследуя громил,
я холоден, – и мрачно Кент набил
бак мусорный: обычная замена –
пиджак берет, плащ прячет Супермена.
Когда ж она вздыхает где-то в парке,
где статуя моя сияет ярко, –
«Ну разве он не диво, Кларк!?!» – молчу,
обычным парнем я лишь быть хочу.

Комментарии

Детство. – Впервые: Грани. Литературный альманах (Берлин). 1922. Кн. 1. С. 93–100. Машинописный текст поэмы, датированный 21–22 августа 1918 г., содержится в тетради «Стихи» (The New York Public Library.

W. Henry & A. Albert Berg Collection of English and American Literature / Vladimir Nabokov papers / Manuscript box. In: Stikhi. Tom 1 [Album 20, v. 1], p. 54–63). Поэма включена в сб.: Сирин Вл. Горный путь. Издательство «Грани».

Берлин, 1923. С. 92–97. Печатается по этому изданию.

Двое. Современная поэма. – Публикуется впервые. Текст поэмы расшифрован по двум источникам: авторскому беловику с несколькими исправлениями и переписанными строчками в тетради, озаглавленной «Стихи В. В. Набокова. 1918» (Berg Collection / Vladimir Nabokov papers / Manuscript box. In: Stikhotvorenia [Album 2], p. 125–137a), и по рукописи Е. И. Набоковой в тетради (там же: Manuscript box. In: [Poetry notebook] Album 21, p. 60–86). Место написания (Ливадия) указано в рукописи, переписанной матерью Набокова; в авторской рукописи указана только дата. Печатается по тексту авторской рукописи с учетом рукописи Е. И. Набоковой.

Сюжет поэмы впервые изложил Б. Бойд, заметивший, что она стала ответом на поэму А. Блока «Двенадцать», 1918 г. (строки из нее Набоков вынес в эпиграф), и, несмотря на ее политическую наивность, «блестяще удалась» молодому поэту (Бойд Б. Владимир Набоков. Русские годы. Биография. СПб.: Симпозиум, 2010. С. 188–189). В интервью 1967 г. Набоков отозвался о поэме Блока так: «Его длинные вещи слабы, а знаменитая поэма “Двенадцать” ужасна, намеренно написана в фальшивом “примитивном” тоне, с розовым картонным Иисусом Христом, приклеенным в конце» (Nabokov V. Strong Opinions. Vintage, 1990. P. 97).

Обстоятельства и настроения Набокова в период обдумывания и сочинения поэмы передает черновик его письма к петербургской возлюбленной Валентине (Люсе) Шульгиной, ставшей позднее прототипом Машеньки в его первом одноименном романе. Письмо датировано сентябрем 1918 г. и было написано в Ливадии, куда Набоковы переехали из Гаспры (местом сочинения поэмы указана Ливадия). Набоков описывает Шульгиной, жившей в то время на украинском хуторе, свои крымские занятия, вспоминает их общее прошлое (в этом месте возникает и название поэмы: «Как возможно, что двое, нежно связанные одною такой несравненной радостью...»), а в конце сообщает ей о том, что, по дошедшим до него сведениям, его петербургский дом захвачен: «Бог знает, что они там наделают» (к изображению последствий такого вторжения он вскоре и обратится в своей «современной поэме»). Текст письма расшифрован нами по черновому автографу в альбоме «Стихи и схемы» (Library of Congress / Vladimir Nabokov papers / Box 10, fol. 25).

IX–18. Ливадия

Мне жаль, что вы не получили моего письма от З–VII. Я описал в нем жизнь мою в Крыму и приложил стихи, стихи о Выре, которые вы одна можете понять... Но я думаю, что все же письмо это, полежав еще недельки две–три где-нибудь в укромном уголке, дойдет до вас, и потому я не стану повторять сказанное в нем. Я живу теперь не в Гаспре, а в Ливадии (адресуйте: Ялта, Ливадия). Большинство знакомых моих покинуло Крым, и другой на моем месте скучал бы. К тому же неподвижный образ жизни, который я веду теперь, разнится с прежним: летом я совершил несколько пешеходных экскурсий в самую глубь полуострова, видел Бахчисарайский фонтан, пленивший меня больше как воспоминание о Пушкине, нежели о чем-либо другом, ночевал под звездным небом или в чистейших татарских хижинах, питался фруктами и молоком, ловил бабочек и рифмы.

Теперь же наступает осень, и назойливо вспоминается иная осень, иное небо. Дух захватывает, когда подумаю об этом. Ведь было так много, так много между нами. Ведь целый мир – огромное светлое царство – остался позади.

Поминаю и вас. Как возможно, что двое, нежно связанные одною такой несравненной радостью, расстались бы, забыли друг друга? Вспомните только. Я бы мог написать поэму на каждый стебелек, который мы, играя, пригнули к земле <...>, на блеск сосен, на тень, на каждый плеск милой извилистой реки. Но на это не хватило бы жизни. <...> Меня волнует это ослепительное сияние прошлого <...> я готов отдать всю грядущую жизнь, чтобы вернуть прежнюю. Я плачу, и это, клянусь вам, не <...> риторический оборот, это правда, как то, что я вас любил, мы любили друг друга. И ныне случаются вспышки страсти, недостойные романтические приключения <...> измены, все, все бледнели перед нашей этой любовью. Я возвращаюсь, возвращаюсь к ней без конца, и во дни тревог, во дни ужасных известий само собой – это сладчайшая отрада. <...> Недавно мы получили известие, что петербургский дом наш занят просто хулиганами. Бог знает, что они там наделают. Я больше всего боюсь, что пропадут письма ваши, запертые в моем письменном столе. <...>

Ваш Володя

С. 21. Живая жизнь – понятие, получившее широкое распространение в русской литературе и восходящее к стихотворению Н. М. Языкова «Прощальная песня» (1829): «Могучий бог ведет меня далече / От вас, моих сограждан–бурсаков! / Найду ли где поэзию трудов, / Наш дивный быт и пламенное вече, / Живую жизнь и мысли без оков?» (Языков Н. М. Стихотворения и поэмы. М., 1958. С. 185).

С. 26. Понтрезина – коммуна в Швейцарии в кантоне Граубюнден, известный курорт Верхнего Энгадина и классическое место охоты энтомологов.

С. 30. ...что разочарованье ждет... – В авторской рукописи далее следовали строки, исправленные карандашом и затем вымаранные чернилами: «доверчиво обворуженной / души ее: ведь пароход / ползет

уж по лагуне сонной».

С. 31. ...затылка завитки, / чуть золотые, занимали... – В авторской рукописи изначальное «увлекали» вычеркнуто карандашом и заменено на слово в публикуемом тексте – по-видимому, ради продления ряда созвучий: затылка – завитки – золотые – занимали.

С. 36. В каком-то вещем забытьи / они склонялись и шептали / слова бессмертные любви. – В авторской рукописи после «забытьи» точка, слово «они» написано с заглавной буквы; в рукописи Е. И. Набоковой как в публикуемом тексте.

Легенда о луне. – Публикуется впервые по машинописному тексту с карандашными правками (Berg Collection /

Vladimir Nabokov papers / Manuscript box. In: Album 20, v. 2, p. 342–372).

Поэма была написана во время июньских каникул Набокова 1920 г., проведенных с семьей в Лондоне. К тому времени основными занятиями Набокова в Тринити-колледже стали французская и русская словесность (Бойд Б.

Владимир Набоков. Русские годы. С. 208). Последние строки поэмы, возможно, полемично отзываются на стихотворение А. Блока «Скифы» (1918) и на саму идеологию скифства, объединившую в 1917–1918 гг. вокруг Иванова–

Разумника группу писателей и деятелей культуры.

Крым. – Впервые: Жар-птица (Париж – Берлин). 1921. № 1 (август). С. 36–37. Поэма включена в сб. «Горний путь» (с. 107–111). Печатается по этому изданию.

С. 59. Дни чередились, как стихи... – В журнальной публикации: «Там дни сменялись, как стихи...» ...кремнистый путь... – отсылка к стихотворению М. Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...» (1841).

С. 61. ...любовь любви моей... – в журнальной публикации: «приют любви моей».

Электричество. – Публикуется впервые. Текст расшифрован по рукописи (беловик рукой Е. И. Набоковой) и правленной карандашом машинописи (Berg Collection / Vladimir Nabokov papers / Manuscript box / Album 20, p. 415–420).

В 1925 г. Набоков опубликовал стихотворение с тем же названием («Играй, реклама огневая...»), финал которого тематически близок более раннему сочинению: «Но иногда, когда нальется / грозю небо, иногда / земля притихнет вдруг, сожмется, / как бы от тайного стыда. // И вот – как прежде, неземная, / не наша, пролетаешь ты, / прорывы синие являя / непостижимой наготы. // И снова мир, как много сотен / глухих веков тому назад, и неустойчив, и неплотен, / и Божьим пламенем объят» (Набоков В. Стихи. Анн-Арбор, 1979.

С. 177). Открытие истинной природы электричества станет этической и научно-технической особенностью цивилизации Антитерры в «Аде» (1969) Набокова.

С. 62. В Милете... – Так в рукописи; в машинописном тексте ошибочно: Милене. Древнегреческий философ и математик Фалес Милетский (640/624–548/ 545 до н. э.) сделал ряд наблюдений статического электричества, обнаружив, что янтарь, если его натереть шерстью, способен притягивать легкие предметы. зеленокудрую – так в рукописи; в машинописном тексте: земнокудрую.

С. 64. ...труд свой поручил. – В рукописи: поручал; в машинописном тексте верно.

С. 65. гралица – отражение на море солнечного или лунного света столбом (Словарь Даля). Закончено 9–XII–20. Кембридж – Груневальд. – Так в машинописном тексте; в рукописи: 9–XII–20. London– Berlin Grunewald.

На севере диком. – Публикуется впервые. Текст поэмы расшифрован по двум источникам: исправленная и дополненная Набоковым рукопись Е. И. Набоковой (синие и черные чернила) в тетради 1921 г. (с. 85–93) и более поздняя машинописная копия в альбоме (Berg Collection / Vladimir Nabokov papers / Manuscript box. Album 20, v. 2, pp. 423–435) с карандашными и чернильными исправлениями и вставками Набокова. Публикуется по машинописи с учетом текста рукописи; подчеркнутые слова выделяются курсивом.

Поэма была написана во время берлинских каникул Набокова в декабре 1920 г. Набоковы переехали в Берлин в начале августа 1920 г., сняв квартиру в дорогом районе Груневальд (округ Шарлоттенбург–Вильмерсдорф) на Эгерштрассе, 1 (в подписи к поэме местом сочинения значится Груневальд) у вдовы немецкого переводчика Толстого и Тургенева, которая предоставила в их распоряжение большую русскую библиотеку. Набокова побуждало к сочинительству, по-видимому, не только родительское поощрение его художественных опытов и возможность прочесть им свое новое произведение, но и то обстоятельство, что в Берлине, в отличие от Кембриджа, он оказался в гуще русской культурной и литературной жизни – посещал публичные артистические выступления или частные собрания, читал эмигрантскую прессу и книжные новинки.

Набоков приехал из Кембриджа в Берлин в начале декабря 1920 г., вернулся в Кембридж в середине января 1921 г. (Бойд Б. Владимир Набоков. Русские годы. С. 214–216). Предполагалось, что он будет заниматься переводом на русский язык повести Р. Роллана «*Colas Breugnot*», о чем он условился с отцом, но, как пишет Бойд, Набоков уехал из Берлина, «не признавшись, что он перевел лишь 110 страниц» этой книги (там же. С. 216). Уточняя круг литературных занятий Набокова в это время, мы можем теперь сказать, что, помимо перевода, он некоторое время до 21 декабря был занят сочинением поэмы, состоящей из трех частей и 171 строки, написанной под влиянием мрачно-выразительных стихов В. Брюсова «*Ultima Thule*» (сб. «*Семь цветов радуги*», 1916) и, возможно, под впечатлением от посещения живописного острова Шваненвердер на реке Хафель в соседнем с Шарлоттенбург–Вильмерсдорф округе Берлина.

В поэме примечательно многое. Прежде всего – ее полусказочный, полуфантастический замысел, в котором традиционный сюжет влюбленности туземки в благородного чужеземца излагается вне условностей популярного в то время жанра путешествий в экзотические страны, без уклона в этнографию и фольклор. Северная страна Набокова, как и время действия поэмы, остаются дразнящей загадкой, представление о «диком» и «цивилизованном» подчиняется художественным целям, а не социальным или этническим обобщениям, причем в описании адаптации странника в чуждом островном мире проявляются личные, автобиографические черты. В этом свете поэма предстает одним из ранних опытов ностальгической рефлексии Набокова по поводу превратностей собственной судьбы, становится развернутой метафорой трагического одиночества поэта, изгнания и эмиграции.

Тщательно обрисованная фигура чужестранца, «царя безвестного края», первого набоковского *solus rex*'а, предвосхищает образ Иностранца (сновидца–творца из «пасмурной действительности») в «Трагедии господина Мор–на». Еще замечательнее, что поэма «На севере диком», являясь первым уверенным эскизом к замыслу неоконченного романа «*Solus Rex*» (1940), отражается и в позднем романе Набокова «Бледный огонь» (1962) с его «далекой северной страной» Земблей, и посвящена, таким образом, одному из самых стойких и универсальных набоковских сюжетов, излагавшихся им по-русски и по-английски. Неизменным условием в указанных произведениях, начиная с ранней поэмы, становится то обстоятельство, что географическая удаленность северного острова, этой поэтической *Ultima Thule*, имеющей долгую литературную традицию, от Мильтона и Поупа до Брюсова, приобретает метафизическую окраску и соотносится с некой предельной онтологической тайной, познание которой связано со смертью (или возможно путем обретения посмертного опыта) и с которой герои Набокова (художник Синеусов в «*Solus Rex*», поэт Джон Шейд в «Бледном огне») только соприкасаются, не раскрывая ее.

Остров в поэме в начальных строчках соотнесен с могилой, что не может не вызвать в памяти упомянутую Набоковым в первом его романе «Машенька» (1926) символистскую картину Арнольда Бёклина «Остров мертвых» (известную в нескольких версиях начиная с 1880-х гг.); тот же мотив звучит в «*Ultima Thule*» Брюсова: «Я посещу ряд могил, где

герои уснули, / Я поклонюсь твоим древним угрюмым руинам <...>». Перечитывая поэму, мы заметим, что в ней выстраивается неизменный в будущем у Набокова ряд связанных между собой тем: далекий остров (загробный мир) – смерть – непостижимая тайна. Чужеземец в поэме – носитель не только тайны своего происхождения (царского, по мысли героини), но и более значительного знания, которым он, подобно Фальтеру в «Solus Rex», не может или не хочет поделиться с простыми смертными:

<...> Ты молчал, хоть и двигались губы, – созвучья

были темны, как слепца сновиденья.

Героиня–рассказчица, со своей стороны, верит в это тайное знание или тайный опыт чужеземца, но может только гадать о нем в терминах недоступного ей иного мира:

Он думал о чем-то безмерном,

жутком и нежном, как даль; и лицо его странно светилось,

словно он с мачты высокой видел страну золотую...

Исследователь в ретроспективном озарении может обратить внимание и на то обстоятельство, что в этой поэме поиск сверхчувственных откровений, с одной стороны, и чувственная составляющая нереализованной любви – с другой, станут одним из источников трагической темы Хэйзель Шейд в «Бледном огне», старавшейся незадолго до своей смерти выведать у «амбарного привидения» (крайняя версия образа потустороннего гостя, «чужестранца») его тайну.

Еще одной отличительной чертой поэмы является избранная Набоковым форма. Она написана от женского лица и представляет собой рассказ–монолог молодой островитянки (позднее к повествованию от женского лица Набоков прибегнет в рассказе «Случай из жизни» (1935), тоже посвященном одиночеству и нереализованной любви героини). Взяв для эпиграфа строчки из лермонтовского вольного перевода стихотворения Гейне «Сосна и пальма» (схожим образом, для «Солнечного сна» он возьмет эпиграфом строчки из Пушкина), Набоков тем самым не только утверждает свое кредо поэта–неоклассициста, наследника и хранителя лучших традиций русской литературы, но и завуалированно отмечает связь собственной поэмы с западной литературой – если не по прямому влиянию, то по месту ее сочинения. Избрав редкий для своего поэтического репертуара размер, нерифмованный шестистопный дактиль, он перемежает и разнообразит его двумя нарочито безыскусными песенными стилизациями с разными типами рифмовки. «На севере диком»

– первое значительное произведение Набокова, созданное в Берлине. Поэма еще не отмечена изощренной игрой слов, «зеркальностью слога», свойственной его более поздним вещам, но в ней уже проявилось пристрастие Набокова к сочетанию аллитерации («ты голоден, гость безглагольный», «братьям моим, рыбакам черногрудым, могучим и грубым») с богатой образностью («горбунья–судьба», «заревое снов», «между оскаленных скал»), к редким или устаревшим словам (лал, бредина, заплески, бурлан), почерпнутым из словаря Даля, купленного Набоковым в Кембридже «на заколдованном лотке» («Университетская поэма»).

Своего рода прологом или первым наброском романтической темы поэмы служит неопубликованное стихотворение Набокова, написанное в Лондоне и датированное 17 июля 1919 г. Скалы, ветер (этот «встревоженный рыцарь в звучной кольчуге»), море, луна, утонувший корабль, тщетное ожидание любви – всё это художественный реквизит будущей поэмы, к которому добавится колорит мрачного северного острова и тема возвращения на родину. Концовка стихотворения особенно близка поэме по тону и настроению:

Ты шепнула: нет,
и, верно, там, где-то вдали,
в извивах взвившихся волн,
тот корабль, который
не одна женщина видела во сне, –
высокий, лучистый корабль, –
со звоном упавшей арфы

пошел к дну (Berg Collection / Vladimir Nabokov papers / Manuscript box. In: Stikhi 1919 London [Album 4], p. 11–13).

С. 67. ...грозди лалов... – Лал или лала – рубин. Это место в поэме напоминает строки «Белей лилей, алая лала, / Бела была ты и ала» из любовного стихотворения Ф. Сологуба «Любовью легкою играя...» (1901).

С. 68. кровавою раной – эти слова вписаны вместо вычеркнутого «кровавой звездой»; исправлено в рукописи и в машинописи. мережи – рыболовная сеть в полотнищах, без отделки (Словарь Даля).

С. 69. ...кита водометного... – Ср. в «Ultima Thule» Брюсова: «Даже и птицы чуждаются хмурых прибрежий, / Где и тюлени на камнях не дремлют в июле, / Где и киты проплывают все реже и реже...» заплески – вершины волн, бьющихся о берег, всплески; знаки, остающиеся от этого на берегу, и самая часть песчаного побережья, заливаемая водой

(Словарь Даля).

С. 70. «Что ты не пьешь, не поешь? – задорно кричит бородатый <...> кто-то шутит, и все ему вторят. – В рукописи это место было написано иначе: «“Что ж ты не пьешь, не поешь?”» – кто-то шути<т>, и все ему вторят». Набоков вычеркнул эту строку и на верхнем поле страницы записал строки, вошедшие в машинописный текст. бурлан – задира (Словарь Даля).

С. 71. бредина – ива, верба, ветла, ракита (Словарь Даля).

С. 72. ветер лукавый – слово «лукавый» вписано рукой Набокова в рукописи; учтено в машинописи.

Петербург. – Впервые: Рувль. 17 июля 1921. С. 2. Поэма была включена в составленный Г. В. Алексеевым сб. «Петербург в стихотворениях русских поэтов» (Берлин: Север, 1923. С. 81–85). Печатается по тексту первой публикации.

Olympicum. – Впервые: Бабинов А. А. Воздушные пути Владимира Набокова. Неизвестная поэма 1921 года // Emigrantica et cetera: К 60-летию Олега Коростелева /

Ред. – сост. Е. Р. Пономарев, М. Шруба. М.: Издательство «Дмитрий Сечин», 2019. С. 791–805. Источник публикации – автограф Набокова, беловая рукопись с незначительной правкой, 14 страниц в заполненной стихами и рисунками тетради, озаглавленной: «Стихи. Владимир Сирин. 1921 г.» (Berg Collection / Vladimir Nabokov papers / Manuscript box. Stikhi [Album 7], p. 35–48). На первой странице тетради эпиграф: «...Кастальский ключ волною вдохновенья / В степи мирской изгнанника поит. Пушкин» (из стихотворения А. С. Пушкина «В степи мирской, печальной и безбрежной...», 1827). Публикации поэмы было предпослано следующее предисловие, которое здесь приводится в новой редакции:

Архивная исследовательская работа по реконструкции писательской истории Набокова в последние годы выявила ряд пробелов, заполнение которых позволит прояснить этапы его творческой эволюции, истоки и метаморфозы замыслов, соотношение ведущих тем и мотивов его сочинений в самых разных жанрах, а также степень его самостоятельности при их выборе. Некоторые такие пробелы раннего набоковского периода (1918–1923) оказываются весьма значительными, как, например, в случае недавно опубликованной большой поэмы «Солнечный сон» (февраль 1923 года), предопределившей замысел «Трагедии господина Морна» (окончена в январе 1924 года) и проложившей начальные пути к его первому удачному роману «Защита Лужина» (1930).

Другие неизвестные сочинения Набокова если и не символизируют начало нового этапа его творчества, то показывают недооцененную исследователями интенсивность его литературных занятий и поисков оригинальной поэтики внутри этих периодов. К таким выпавшим из творческой биографии Набокова звеньям относится эпикурейская поэма «Olympicum», написанная кембриджским студентом–словесником в половине сентября 1921 года во время его берлинских вакаций. «Олимпийской» поэме, славящей победу человека над гравитацией и радость состязаний, предшествовало короткое изложение темы в стихотворениях «Football» (февраль 1920 года), с тем же переходом от описания спортивной игры к фигуре самого олимпийца–поэта, и «Движенье» («Искусственное тел передвиженье – / вот разума древнейшая любовь...», март 1920 года), с той же мифологизацией средств передвижения («И чуя, как добычу, берег дальний – / стоюкие, – по морокам морей / плывут и плещут музыкою бальной / чертоги исполинских кораблей!») и кульминацией – полетом аэроплана. Год спустя описание полета преобразится у Набокова в финальный дедаловский образ гордого вознесения молодого поэта к творческим высотам. Мотивы и образы более ранних стихотворений сходятся в «Olympicum'e», этом гимне «душевных взлетов», оборачиваясь свежими метафорами поэтического вдохновения.

В середине декабря 1919 года Набоков гостил в Мар–гите, графство Кент, на вилле дяди своей петербургской пассии Евы Любржинской. Там он «в первый <... > раз летал на аэроплане – небольшой дешевой штуковине», что отмечено биографом Набокова²⁵. Этот опыт не только получил литературное отражение в поэме, но и, по всей видимости, позднее привел к легкой форме аэрофобии у Набокова, предпочитавшего пересекать Атлантику на кораблях, а не на самолетах. В романе «Ада, или Отрада» (1969) схожим с поэмой образом будут описаны полеты на ковролетах. Некоторые спортивные и связанные с полетом образы поэмы получают развитие и в «Приглашении на казнь» (1935):

То был далекий мир, где самые простые предметы сверкали молодостью и врожденной наглостью, обусловленной тем преклонением, которым окружался труд, шедший на их выделку. То были годы всеобщей плавности; маслом смазанный металл занимался бесшумной акробатикой; ладные линии пиджачных одежд диктовались неслыханной гибкостью мускулистых тел; текучее стекло огромных окон округло загибалось на углах домов; ласточкой вольно летела дева в трико – так высоко над блестящим бассейном, что он казался не больше блюда; в прыжке без шеста атлет навзничь лежал в воздухе, достигнув уже такой крайности напряжения, что если бы не флажные складки на трусах с лампасами, оно походило бы на ленивый покой; и без конца лилась, скользила вода; грация спадающей воды, ослепительные подробности ванн комнат, атласистая зыбь океана с двукрылой тенью на ней. Все было глянцевице, переливчато, все страстно тяготело к некоему совершенству, которое определялось одним отсутствием трения. Упиваясь всеми соблазнами круга, жизнь довертелась до такого головокружения, что земля ушла из-под ног, и, поскользнувшись, упав, ослабев от тошноты и томности... сказать ли?.. очутившись как бы в другом измерении...²⁶

Указанная в автографе поэмы дата (15 сентября 1921 года) позволяет установить место и обстоятельства ее сочинения. Бойд сообщает, что Набоков отправился из Англии в Берлин 13 июня этого года, где вскоре познакомился со Светланой Зиверт, обворожительной шестнадцатилетней кузиной его ближайшего кембриджского друга Михаила Калашникова, в обществе которой стал проводить много времени и которой начал посвящать стихи²⁷. 5 сентября семейство Набоковых переехало на новую квартиру – «в Вильмерсдорф, на Зегзишештрассе, 67, – в большую и дорогую квартиру на четвертом этаже с окнами на теннисный корт, которую они арендовали у немецкого офицера фон Клейста. Чтобы позволить себе подобную роскошь, им пришлось сдать две комнаты в этой квартире какому-то тихому англичанину»²⁸. По всей видимости, в этой просторной квартире теннисист и голкипер Набоков, окрыленный новым ярким увлечением, и сочинил свою поэму. Время и место ее создания подтверждается и тем обстоятельством, что никаких ее упоминаний в подробных и часто сугубо литературных письмах Набокова к родителям, регулярно посылавшихся из Кембриджа (куда он вернулся 7 октября), мы не находим, поскольку она, очевидно, уже была им известна. Вполне возможно, что Набоков перед возвращением в Кембридж прочитал в семейном кругу свое новое сочинение (как у него было заведено еще с крымской поры) и, возможно, обсудил с отцом его публикацию. «Olympicum», однако, не вошел ни в состав «Грозди» (декабрь 1922 года), ни в состав «Горнего пути» (январь 1923 года). Не упоминает эту поэму В. Д. Набоков и в своем подробном письме к сыну от 29 января 1922 года относительно подготовки к печати сборника «Гроздь».

Не увидев свет в ближайшие после ее создания месяцы, поэма была отложена, а затем перемещена в архив, как и другие его большие и малые вещи, отмеченные печатью ученичества, или структурного несовершенства, или интимного автобиографизма (как в случае «Солнечного сна»). Мы можем только предположить, что отказ Набокова от публикации поэмы (если она все же не была послана в какой-нибудь эфемерный эмигрантский журнал или газету, как написанная в том же году короткая поэма «Крым», напечатанная в августе 1921 года в «Жар-птице») был продиктован желанием улучшить, переписать, сократить или вовсе исключить слабые места (в первую очередь, возможно, вставной апокриф об изобретении футбола), еще раз обдумать уместность христианских мотивов креста и распятия и нивелировать как излишне самоуверенный тон финала («стиха властительные тайны / я упоительно постиг!»), так и его заметную несамостоятельность. К примеру, строки:

И крыши, крошечные крыши,
и площади я видеть мог,
а выше, выше – только Бог,
свобода, ветер! Выше, выше,
мой ослепительный летун,

взвивайся, трепетно–лучистый,
как звук, прерывистый и чистый,
в восторге сорванный со струн!

– звучали перепевом чего-то давнего, подзабытого, что оказывалось стихами Зинаиды Гиппиус, напечатанными за двенадцать лет до того в газете «Речь», одним из руководителей которой был отец Набокова:

Еще мы здесь, в юдоли дольней...

Как странен звон воздушных струн!

То серо–блещущий летун

Жужжит над старой колокольней²⁹.

Как в этих стихах дирижабль поднимается над «юдолью дольней», так у Набокова моноплан удаляется от «нечистой пристани людской», причем термин «летун», введенный в оборот еще в 1881 году³⁰, так же рифмуется у него со словом «струн». Это заимствование, вполне возможно безотчетное, тем более занятно, что именно Зинаиде Гиппиус принадлежал уничижительный отзыв на первый сборник стихов Набокова 1916 года: прочитав его, она попросила В. Д. Набокова (как о том Набоков писал в «Других берегах») передать юному поэту, что «он никогда писателем не будет». Финал набоковской поэмы объясняет источник и смысл ее заглавия, отсылающего к олимпийским одам Пиндара («*Carmen Olympicum*») и к последующей латинской традиции: образ пиита, постигающего в метафорическом полете «стиха властительные тайны», напоминает концовку первой оды Горация к Меценату: «Если ж ты сопричтешь к лирным певцам меня, / Я до звезд вознесу гордую голову»³¹. В начале же этой оды возникает образ огненных колес олимпийской колесницы (дословно: «бывают люди, которым приятно собирать пыль олимпийскую на колеснице и обогнуть цирковой столб на раскаленных колесах») – образ, преобразенный у Набокова в описании велосипедной езды: «И мощно–трепетной машины / рокошет огненная грудь, / как бы на бешеные шины / прямой наматывая путь...» Подражая пушкинским «Подражаниям древним», Набоков в Кембридже сочинил несколько стихотворений стилизованным гекзаметром (среди которых было и спортивное «*Lawn Tennis*»: «<...> голову поднял с улыбкой, мяч серебристый подкинул, – / выгнувшись, плавно взмахнул многострунной широкой лаптою...»³²), продолжив затем эту линию своего программного неоклассицизма в «*Olympicum'e*». Однако, сколь бы преданно «поэтический старовер» Сирий ни хранил верность пушкинско–бунинской музее, сколько бы ни длил свой, «продолжавшийся далеко за двадцатый

год», оранжерейный «период <...> некоего частного ретроспективно-ностальгического кураторства», стремление обрести новые мощные крылья и «освободиться от добровольно принятых на себя оков»³³, заметное уже в публикуемой поэме, в конечном счете взяло верх.

С. 81. облый – круглый, округлый, круглобокий (Словарь Даля).

С. 82. ...геометрических безумий <...> прежних мастеров / забыть не смеем мы... – Набоков неизменно отвергал абстрактное искусство и, в частности, кубизм. ...прежних мастеров <...> мадонны–лилии цветут... – Подразумевается лилия белоснежная или лилия Мадонны (*Lilium candidum*), совмещенная с образом Мадонны в живописи эпохи Возрождения; ср. в рассказе «Венецианка» (1924): «Ах, мой друг, я влюблен в Мадонн! Помню первое мое увлечение – Мадонну в голубой короне, нежного Рафаэля... <...> Но самая прелестная из всех Мадонн принадлежит кисти Бернардо Луини» (Набоков В. Полное собрание рассказов. СПб., 2016. С. 156–157).

С. 83. ...удар лапты золотострунной – / чрез сетку, в меловой квадрат... – Ср. (лучшее из известных нам в русской литературе) описание теннисной подачи в «Лолите» (1955): «Изящная ясность всех ее движений находила свое слуховое дополнение в чистом, тугом звоне каждого ее удара. Войдя в ауру ее власти, мяч делался белее, его упругость становилась качественно драгоценнее. Прецизионный инструмент, который она употребляла по отношению к нему, казался в миг льнущего соприкосновения необычайно цепким и неторопливым. <...> У моей Лолиты была чудная манера чуть приподымать полусогнутую в колене левую ногу при раскидистом и пружинистом начале сервисного цикла, когда развивалась и на мгновение натягивалась в лучах солнца живая сеть равновесия между четырьмя точками – пуантой этой ноги, едва опущенной подмышкой, загорелой рукой и далеко закинутым назад овалом ракеты, меж тем как она обращала блестящий оскал улыбающегося рта вверх к маленькой планете, повисшей так высоко в зените сильного и стройного космоса, который она сотворила с определенной целью – напасть на него звучным хлестком своего золотого кнута. Ее подача отличалась прямоотой, красотой, молодостью, классической чистотой траектории, но, невзирая на беговой ее темп, ее было нетрудно вернуть, ибо никакой закорючки или изюминки не было у длинного, элегантного подскока ее мяча (Набоков В. Лолита. М.: АСТ: Corpus, 2021. С. 385–386). В старинном городке резном <...> где сам под кленами я жил... – Имеется в виду Кембридж, где в 1919–1922 гг. Набоков учился в Тринити–колледже.

С. 83–84. ...чорт <...> или воркующих реторт / пытливый друг, алхимик хилый... – Намеченная здесь фаустовская тема найдет продолжение в стихотворной драме Набокова 1923 г. «Смерть» (подр. см.: Сократова отравка // Бабинов А. Прочтение Набокова. Изыскания и материалы. СПб., 2019. С. 141–147).

С. 86. вир – омут, водоворот, ямина под водой с родниками или с коловоротом быстрого течения (Словарь Даля).

Солнечный сон. Сказка. – Впервые: Набоков В. Солнечный сон / Публ., примеч., послесл. А. Бабикова // *Connaisseur*. Историко–культурный альманах. Редактор–составитель И. Н. Толстой. Прага, 2019. № 2. С. 363–379. Публикация самой длинной и значительной ранней поэмы Набокова, текст которой в настоящем издании печатается с уточнениями, завершалась послесловием, которое здесь приводится в новой редакции:

В конце толстой шитой тетради в твердой вишневой обложке, среди переписанных стихов Бунина, Гумилева, Одоевцевой и вклеенных газетных вырезок, на страницах, означенных номерами 5–27, рукою Елены Ивановны Набоковой записана «сказка» ее сына «Солнечный сон». Дата и место сочинения поэмы (февраль 1923 года, Берлин) позволяют определить, при каких обстоятельствах двадцатичетырехлетний русский эмигрант Владимир Набоков написал ее и чем она была навеяна.

Поэма относится к начальному берлинскому периоду Набокова, еще не встретившего Веру Слоним, свою будущую жену, и уже потерявшего отца, убитого террористами в зале берлинской филармонии 28 марта 1922 года. Ей предшествовало несколько разноплановых поэм 1919–1922 годов и совсем немного прозаических сочинений, лучшим из которых было эссе «Руперт Брук» (1922). Первое общее описание «Солнечного сна» принадлежит Брайану Бойду:

В конце февраля Набоков закончил самую длинную – 850 строк – из своих поэм, «Солнечный сон», написанную в жанре средневековых видений. Седовласый король посылает своего воина Ивэ[й]на разрешить в поединке спор с соседним королевством и его чернобородым королем. По условиям поединка первый, кто выиграет десять партий в шахматы, считается победителем. Мечтательный Ивэ[й]н одерживает победу, однако во время поединка он все больше и больше попадает во власть колдовских чар города, звуки которого он слышит вокруг шатра, разбитого им на пустынной равнине. Вернувшись к невесте, Ивэ[й]н уговаривает ее разделить с ним его уединение. Несколько недель она делает вид, что слышит те же звуки, что и он, но потом признается, что для нее равнина так и осталась безмолвной. Когда она покидает Ивэ[й]на, тот еще глубже погружается в грезы, слышит и даже видит город странных созвучий, в блаженстве протягивает к нему руки, – и его мертвое тело находят на заросшей травой равнине. Здесь чувства, которые испытал Набоков, когда его оставила Светлана [Зиверт] – невеста, не способная воспринимать божественную гармонию, явленную ему, – трансформируются в историю, предвосхищающую видения одинокого героя «Приглашения на казнь». При этом Набоков хочет сказать: хотя проблеск иного, потустороннего мира может быть вспышкой подлинного видения, лишь безумец абсолютно уверен в том, что из земной жизни есть доступ в потусторонность³⁴.

Набоков познакомился с шестнадцатилетней Светланой Зиверт 13 июня

1921 года, приехав из Кембриджа в Берлин на каникулы. Увлечение жизнерадостной красавицей из большой и состоятельной семьи горного инженера затмило все его предыдущие романы. Светлане нравились посвященные ей нежные стихи влюбленного Сирина, тогда уже довольно известного берлинского поэта, постоянного автора «Руля», и само внимание блестящего игрока в теннис и шахматиста было ей лестно. Летом следующего года состоялась помолвка. Во второй половине июля 1922 года мать невесты Клавдия Евгеньевна Зиверт, уезжавшая с детьми в курортное местечко Бад-Ротерфельд, пригласила Набокова присоединиться к ним. 24 июля он писал матери оттуда:

Живем мы в Kurhaus'e, комната у меня веселенькая, светлая, с упоительно-мягкой кроватью. Клавдия Евгеньевна так очаровательна, что просто слов нет. Сплошной уют. Еда отличная и обильная: вообще – главное занятие здешних обитателей состоит в питании. В саду под кленами и каштанами слушаем музыку и пьем молоко. Оркестр в своей раковине играет попури из Вагнера³⁵.

Из этого письма между прочим следует, что в «Солнечном сне» не стоит видеть сугубо автобиографическое иносказание: в Ивейне – самого Набокова, а в Нимфа-не – его невесту Светлану, поскольку, например, образ ее матери в поэме, «холодной, прямой», осуждающей союз дочери с «мечтателем», не напоминает «очаровательную» Клавдию Зиверт.

Согласие на помолвку, однако, было дано с условием. Выпускник Кембриджа поэт и переводчик Набоков должен был найти в Берлине место, которое позволило бы ему содержать семью. Из этого ничего не вышло: служба в немецком банке продлилась всего три часа, других попыток позаботиться о будущей жене, кроме туманных планов сочинения выгодных киносценариев, предпринято не было, и когда однажды 9 января 1923 года он, как обычно, зашел к Зивертам, ему объявили, что он нарушил условие и помолвка расторгнута³⁶.

Светлану услали в Бад-Киссинген, и на этот раз Владимир уже не мог сопровождать ее. О том, что он тогда же, в январе, написал несколько горьких стихотворений, хорошо известно, но до прочтения рукописи «Солнечного сна» трудно было представить себе всю глубину его отчаяния. «Глухота» Нимфаны потрясает Ивейна меньше, чем ее решение оставить его и ее поспешное бегство из их уединенного шатра. Услышав «последний звук, последнее бряцанье / удил» коня, уносящего Нимфану «назад, назад, в обычный мир», он погружается в долгое беспамятство, от которого ему не суждено оправиться. В финале поэмы Набоков сохраняет надежду, хотя бы литературную, на то, что волновавшая его героя незримая женщина, идущая к нему навстречу по лестнице широкой, «воздушная, в шафрановых шелках», – это она, Нимфана, «знакомая и сказочно-чужая», ее потусторонний идеальный образ, но в берлинской реальности Набоков ждал напрасно и, так и не дождавшись возвращения своей Светланы, 23 августа написал эпитафию к их несостоявшейся жизни вдвоем:

Блистанье твоего ланцета

мне помнится, любовь! Сперва:
боль, ожиданье. В брызгах света
шумела за окном листва.

Но холод приторный эфира
мною длительно овладевал:
гул ускользящего мира –
и в бездну бархатный провал...

.....

Вздых, – и вернулся я к напевам,
журчаньям, шелестам листвы;
но на груди, вот тут, – под левым
сосцом, – невынутые швы.

И люди шепчутся, глаза
на мертвую мою мечту
в стеклянных сумерках музея,
где сердце выцвело в спирту³⁷.

Его знакомство с Верой Слоним произошло 8 мая 1923 года на эмигрантском балу, за два дня до его отъезда на юг Франции, на ферму друга семьи, в Домен де Больё. Вернувшись 19 августа в Берлин (четыре дня спустя он сочинит приведенные стихи) и разыскав Веру, он свяжет с ней свою судьбу, благодаря чему (как он сам позднее признался Алданову) сможет сочинить свои первые романы и превзойти всех молодых эмигрантских писателей. Но и годы спустя рана от расторжения помолвки с юной Светланой продолжала саднить. В его карманном дневнике за 1968 год можно разобрать запись от 27 июня: «Снилась опять Светлана». Далее следуют стихи, три четверостишия, тщательно вымаранные.

Изучавший в Кембридже кроме прочего старинную европейскую литературу, Набоков избирает для своего героя имя одного из рыцарей

короля Артура, которому посвящен роман Кретьена де Труа «Ивейн, или Рыцарь со львом» (ок. 1176–1181). «Король чернородый», с которым набоковский Ивейн сражается в шахматы, напоминает о владельце волшебного источника Черном рыцаре, побежденном легендарным Ивейном в поединке (подразумевал ли Набоков здесь линию к зачаровавшему его героя волшебному месту в степных владениях чернородого короля?). Любовная драма набоковского героя также пересекается в различных плоскостях с историей Ивейна: в замке поверженного им Черного рыцаря он влюбляется в прекрасную Лодину, женится на ней и уезжает на турниры, дав обещание вернуться ровно через год. Клятвы своей он не сдерживает. Отвергнутый своей дамой сердца, Ивейн теряет рассудок, покидает двор и превращается в одичавшего безумца. Артуровскому Ивейну, в отличие от героя «Солнечного сна», уготовано еще многое – он будет излечен от безумия бальзамом феи Морганы, совершит великие подвиги, вернется к волшебному источнику и вновь обретет милость Лодины. Поэму можно прочесть и как развернутую метафору из стихотворения Владислава Ходасевича «Психея! Бедная моя!..»: «Простой душе невыносим / Дар тайнослышанья тяжелый». Именно так Нимфани и лаолянским мудрецам из переулка Чисел тайнослышанье Ивейна оказывается недоступным. Берлинское издание сборника Ходасевича «Тяжелая лира» с этим стихотворением увидело свет в конце 1922 года и, вполне возможно, направило замысел Набокова. Что Ивейн считал единственным в своем роде безумием и чего стыдился, было на самом деле редким и тяжелым даром, позволявшим ему не только зреть незримое, но и побеждать в узорной игре, в которой другой гибнущий в конце книги гений, Александр Лужин, находил неизведанные глубины и прозрения.

Прямая от пушкинского эпиграфа к строкам пушкиниста и поэта Ходасевича («потомка Пушкина по тютчевской линии», как Набоков позднее скажет в посвященном ему эссе) проводится автором «Солнечного сна» естественно и уверенно, она тянется из этого раннего тематического ядра в «сказке» к знаменитым «Поэтам» – одним из его последних написанных в Париже стихам, и затем пунктирно продолжается в Америке в 1940–1950 годах, и вновь в Европе, вплоть до его последнего оконченного романа «Взгляни на арлекинов!» (1974). До сих пор первым значительным сочинением, началом Набокова, проложившем все главные пути к его контрапунктному искусству и двуплановым композициям, считалась «Трагедия господина Морна», оконченная в январе 1924 года, на заре его нового ослепительного увлечения и новых надежд, перешедших в большую любовь и грандиозную литературу; теперь же, после расшифровки и публикации рукописи «Солнечного сна», открылись неизвестные переходы и галереи к самой «Трагедии», выросшей из этого более раннего замысла, сохранившей сказочный сюжет, кольцевую композицию, тему потустороннего сновидца (Иностранца)³⁸ и образ увлеченной балами красавицы (Мидии). Подобно Нимфани, Мидия оставляет «волшебника» Морна, однако лишь после того, как он утрачивает свой творческий дар, благодаря которому и существовала блестящая столица его королевства.

Рукопись «Солнечного сна» Набоков, по всей видимости, уничтожил. Несмотря на то, что в американском архиве писателя многие его поэмы и стихи 20-х годов отложились в автографах, машинописях и в переписанных рукой матери или жены тетрадях, другого текста

«Солнечного сна», рабочих материалов или черновиков к нему нам отыскать не удалось. К счастью, поэма переписана хотя и не вполне аккуратно и разборчиво, но от начала и до конца, что можно считать большой удачей, учитывая ее длину и значение для всего дальнейшего двуязычного творчества Набокова.

Поэма публикуется (по нормам современной орфографии) по рукописи в тетради Елены Ивановны Набоковой (Berg Collection / Vladimir Nabokov papers / Manuscript box. Album 1923–1924) с исправлением явных опечаток и восстановлением часто отсутствующих знаков препинания.

За пять лет до «Солнечного сна» Набоков совместил сюжет шахматного состязания с любовной темой в одноактной стихотворной драме «Весной» (подзаголовок: «Лирическое нечто в одном действии»), написанной в Крыму и датированной 23 января 1918 г. Содержание этого неопубликованного и отвергнутого Набоковым сочинения (его начало перечеркнуто легкой вертикальной чертой, а над заглавием написано: «Вонь») впервые изложил Б. Бойд, отметивший, что пьеса «открывает нам будущего Набокова: шахматы, судьба, переход из одной реальности в другую, время как неизбежная утрата» (Бойд Б. Владимир Набоков. Русские годы. С. 172). Высказанное Шахматистом в этой драме уподобление шахмат жизни, а шахматной игры ходам самой судьбы («Да, мне знакома ты, двуцветная доска! / Не так ли жизнь моя на ровные квадраты / разделена?») позднее получит у Набокова развитие в «Защите Лужина» и в «Даре».

Следующий фрагмент из драмы, напоминающий точные описания шахматной игры Ивейна в «Солнечном сне», я привожу по белой рукописи Набокова в тетради стихов «Цветные камешки» (Berg Collection), за присылку копии которой я сердечно благодарю Брайана Бойда.

Шахматист

Великолепный ход! С моей же судьбой
я сравниваю вас. Но я – неутомимый,
расчетливый борец, я жертвовал умно.
Все предусмотрено.

Неизвестный

Судьба непобедима.

<...>

Шахматист (передвигая пешку)

Теперь все кончено. Сдавайтесь, враг любезный.

Победной пешкою восьмой достигнут ряд.

Склоните короля!

Неизвестный (бесстрастно)

Зачем же? Бесполезно...

Поторопились вы. Я объявляю мат!

Эпиграф. – В «Борисе Годунове» (1831) Патриарх в Царской думе передает слова «простого пастуха», слепого старца: «Не посылал Господь мне исцеленья. / Вот наконец утратил я надежду. / И к тьме своей привык, и даже сны / Мне виданных вещей уж не являли, / А снились мне только звуки». Пастух чудесным образом прозрел после услышанного во сне детского голоса Царевича Дмитрия и молитвы у его гроба.

С. 90. Ивейн. – В рукописи имя героя в первой части поэмы пишется как Ивэйн, затем как Ивейн.

С. 91. ...в Лаолян, далекий и ленивый... – Название столицы сказочной державы напоминает о Ляояне – одном из древнейших городов и пограничных пунктов Маньчжурии (провинция Ляонин), расположенном на левом берегу Тайцзыхэ. В Русско-японскую войну 1904–1905 гг. он был избран местом сосредоточения маньчжурской армии. Под Ляояном произошло крупное сражение 11–21 августа 1904 г., после которого русские войска отступили к Мукдену.

С. 93–94. И солнце исполинское глядело <...> по жилам растекалось <...> все пропитывало синью. – В пятой главе «Дара» (1938) молодой русский писатель Федор Годунов-Чердынцев схожим образом описывает собственное «приобщение ко всему мрению летнего леса» на озере в Груневальде: «Солнце навалилось. Солнце сплошь лизало меня большим, гладким языком. Я постепенно чувствовал, что становлюсь раскаленно-прозрачным, наливаюсь пламенем и существую, только поскольку существует оно. <...> Собственное же мое я, то, которое писало книги,

любило слова, цвета, игру мысли, Россию <...> как-то разошлось и растворилось, силой света сначала опрозраченное, затем приобщенное ко всему мрению летнего леса, с его атласистой хвоей и райски-зелеными листьями, с его муравьями <...> горячим дыханием крапивы, плотским душком нагретой травы, с его небесной синевой, где высоко-высоко гремел самолет, как бы подернутый синей пылью, синей сущностью тверди <...>» (Набоков В. Дар. АСТ: Corpus, 2022. С. 434–435).

С. 95. И звуки проплывали сквозь него <...> как будто он без плоти, без веса был. – Ср. в «Парижской поэме»: «Так он думал без воли, без веса, / сам в себя, как наследник, летя».

С. 96. Год вечерел... – Описывается вторая половина лета или начало осени («уж созревал нагретый виноград», вторая часть поэмы начинается словами: «В осенний день...»). ...уж созревал нагретый виноград... – Ср. строку, приписанную в «Даре» (третья глава) поэту Кончееву: «Виноград созревал, изваянья в аллеях синели».

С. 97. И понял, что один / он одарен волшебным этим слухом. – Мысль о собственной исключительности посещает героя «Дара», который, как и герой «Солнечного сна», – иностранец в столице чужой державы: «<...> и было бы приятно смотреть с высоты на скользящую, перспективой облагороженную улицу, если бы не всегдашняя, холодненькая мысль: вот он, особенный, редкий, еще не описанный и не названный вариант человека, занимается Бог знает чем, мчится с урока на урок <...> Вот бы и преподавал то таинственнейшее и изысканнейшее, что он, один из десяти тысяч, ста тысяч, быть может даже миллиона людей, мог преподавать <...>» (Набоков В. Дар. С. 183).

С. 111. ...в толпе заметила Ивейна: / стоял он, молчаливый и далекий, / как спящий, улыбаясь. Вкруг него / носились дуновенья неприязни: / с ним избегали говорить, косились. – Описание королевского пира найдет свое отражение во второй сцене первого акта «Трагедии господина Морна» в изображении бала у Мидии, на котором появляется сам король (инкогнито) и на котором присутствует Иностранец-сновидец «из обиходной яви, / из пасмурной действительности», ср.:

Иностранец

(к Мидии)

Я не забуду пребывания в вашей

столице колдовской: чем сказка ближе

к действительности, тем она волшебней.

Но я боюсь чего-то... Здесь незримо

тревога зреет... В блеске, в зеркалах,

я чувствую... (Набоков В. Трагедия господина Морна. Пьесы. Лекции о драме. СПб., 2008. С. 174.)

С. 115. Бессвязные в мозгу вздувались мысли, / как те чудовищные числовые / загадки и растущие шары, / что иногда в бреде больного мучат. – Одно из самых ранних, если не первое, изложение повторного автобиографического образа, возникающего затем с вариациями в нескольких русских и английских сочинениях Набокова, например, в «Других берегах», в которых он вспоминает, что до десяти лет был «отягощен исключительными, и даже чудовищными, способностями к математике»: «Математика играла грозную роль в моих ангилах и скарлатинах, когда, вместе с расширением термометрической ртути, беспощадно пухли огромные шары и многозначные цифры у меня в мозгу» (Набоков В. Другие берега. М.: АСТ; Corpus, 2022. С. 39).

Юность. – Впервые: Новый Журнал. 2012. № 267. С. 120–127. Публ., предисл. М. Минской.

Текст поэмы был записан Е. И. Набоковой в двух тетрадях: правленный Набоковым черновик, в котором более раннее название «Школа» вычеркнуто и над ним написано «Юность», и заново переписанный беловик с незначительной правкой рукой Е. И. Набоковой; публикуется по этому тексту (Berg Collection / Vladimir Nabokov papers / Manuscript box. In: Album 14, p. 26–38). «Юность», написанная в Берлине в начале ноября 1923 г., продолжает ряд поэм Набокова, посвященных его русскому прошлому («Детство», «Крым», «Петербург»), являясь преимущественно опытом биографической и поэтической авторефлексии. В отличие от сказочного «Солнечного сна», в «Юности» Набоковым декларативно и прямолинейно выражена связь его консервативной или неоклассической позиции с отвержением революционных событий и радикальных культурных преобразований в России. Значительно тоньше и искуснее эта связь будет проведена три года спустя в «Университетской поэме». Лирический герой «Юности» предстает в образе рыцаря древнего рода, противостоящего новомодной литературной нечисти, вырастающей в советской России, откуда «ползут <...> гугнивые и склизкие» стихи, «полные неблагостного гула» (которому противопоставляется «благостный» «подвиг наш»), а сами новые советские поэты названы конокрадами (прозрачная аллюзия на стихотворение Есенина «Хулиган», 1920: «Только сам я разбойник и хам, / И по крови степной конокрад»). Написанные в пушкинском ключе и обращенные к Пушкину и его «живому завету», эти стихи не обладают значительными поэтическими достоинствами, но примечательны своей обработкой автобиографического материала, позднее использованного в «Машеньке», а также вниманием молодого автора к вопросам композиции и структуры: в поэме семнадцать строф по двенадцать строк в каждой;

однако в первой и последней строках – по одиннадцать строк, причем в первой строке последняя строка остается холостой и рифма «подхватывается» в следующей строке, а в последней строке из-за смены системы рифмовки последняя строка рифмуется с предыдущей, замыкая тем самым и строфу, и всю сквозную рифмовку поэмы.

После журнальной публикации поэма печаталась отдельным изданием: Набоков В. Юность / Публ., вступ. ст. М. Минской. СПб., 2016. К сожалению, публикатором, малознакомым, по-видимому, с дореформенным правописанием, текст поэмы был сильно искажен. Буква «ять» в слове «белая» дважды прочитана как «ы» (отсюда у публикатора не попадающие в размер «ночь былая» и «Сергиевской былой»), а в слове «ширме» прочитана как «ах» (отсюда – «на деревянных ширмах», тогда как у Набокова – «на деревянной ширме»); буква «ер» прочитывается публикатором иногда как «ерь» (отсюда «пламенеть» вместо «пламенеет», что рифмуется у Набокова с «умеет»); вследствие слабого знания набоковской лексики и непонимания содержания текста, публикатор не смогла прочитать слово «гугнивые» и произвольно заменила его словом «пугливые»; слово «цезуру» поменяла на «цензуру», «щит» на «путь», «жарче» на «ярче», «вот» на «ведь» (снова «ер» на конце превращается в «ерь»), «дымит» на «дышит», «серую мглу» преобразила в «старую» и т. д. и т. п.

С. 119. Делия – отсылка к лицейским стихотворениям А. С. Пушкина «Делия» и «К Делии». Делия в поэзии Пушкина – условное имя возлюбленной.

С. 120. Дом был у нас душистый и счастливый: / кварц искрился сквозь розовый гранит. / Мозаика цвела над верхним рядом / высоких окон. – Описание петербургского особняка Набоковых на Большой Морской, 47.

С. 121. battez – фехтовальный термин, упомянутый также в «Других берегах» в схожем описании тренировок В. Д. Набокова с французом Лустало.

С. 122. Чугунного не стоит завитка / вся эта ваша смертная тоска, / придумавшая звезды шутовские... – Подразумевается красная звезда, в 1918 г. ставшая символом Рабоче-крестьянской Красной армии.

С. 123. ...по плоским крыш<к>ам... – В черновике «крышкам», в беловике описка «крышам»; подразумеваются крышки канализационных люков.

С. 124. Благодарю, благодарю, Бестужев! – В. В. Гиппиус (1876–1941), о котором Набоков так вспоминал в «Других берегах»: «Директор Тенишевского училища, В. В. Гиппиус, писавший (под псевдонимом Бестужев) стихи, мне тогда казавшиеся гениальными (да и теперь по спине проходит трепет от некоторых запомнившихся строк в его удивительной поэме о сыне), принес как-то экземпляр моего сборничка в класс и подробно его разнес при всеобщем, или почти всеобщем, смехе. Был он большой хищник, этот рыжебородый огненный господин, в странно узком двубортном жилете под всегда расстегнутым пиджаком, который как-то летал вокруг него, когда он стремительно шел по

рекреационной зале, засунув одну руку в карман штанов и подняв одно плечо» (Набоков В. Другие берега. С. 249–250). Поэму Гиппиуса «Лик человеческий» (1922) Набоков вспоминал 15 апреля 1932 г. в письме к жене: «Сумбурная поэма, но есть в ней чудеснейшие, вдохновеннейшие места. Например, такая строфа: “Если не верите, идемте к морю, / закиньте невод, вам ответит глыба / обильных рыб. И как рабы, не споря, / бросали невод мы в морскую зыбь / и радовались, что обильем рыб / был невод наш тяжел, и густ, и черен”» (Набоков В. Письма к Вере / Вступ. ст. Б. Бойда, коммент. О. Ворониной и Б. Бойда. М.: Колибри, 2017. С. 192).

С. 125. Меня сосед, тупой, мужиковатый... – Григорий Попов, о котором Набоков вспоминал так: «гориллообразный, бритоголовый, грязный, но довольно добродушный мужчина–гимназист, – с ним даже боксом нельзя было совладать, – который ежегодно “оставался”, так что, вероятно, вся школа <...> прошла бы через него, если бы в 14-м году он не убежал на фронт, откуда вернулся гусаром» (Набоков В. Другие берега. С. 214).

С. 126. ...в соблазнительных лохмотьях... – Предположительно, описка, должно быть: лоскутьях.

Университетская поэма. – Впервые: Современные записки (Париж). 1927. Кн. 33. С. 223–254. Поэма написана в Берлине в декабре 1926 г., вскоре после завершения «Машеньки». С публичным чтением «Университетской поэмы» Набоков впервые выступил 22 декабря 1926 г. в Праге (см.: Набоков В. Письма к Вере. С. 172).

Перевернутая онегинская строфа, которой написана поэма, отвечает ряду «перевернутых» или зеркальных отсылок к роману Пушкина и определяет принадлежность поэмы к богатой онегинской традиции в русской литературе (подр. см.: Образец и его отражение. «Университетская поэма» Набокова // Бабинов А. Прочтение Набокова. Изыскания и материалы. СПб., 2019. С. 25–55).

С. 132. Нагие скамьи. – Вероятно, нарушен порядок слов, из-за чего ударение в слове «скамьи» падает на первый слог, должно быть: Скамьи нагие.

С. 150. ...пел «Аллаверды»... – Имеется в виду популярная застольная песня «Аллаверды», известная в нескольких версиях и исполнениях в 1910-х гг., стихи В. А. Соллогуба (1871). Первая строфа: «С времен, давным–давно отжитых, / Преданьем Иверской земли, / От наших предков знаменитых, / Одно мы слово сберегли; / В нем нашей удали начало, / Преданье счастья и беды; / Оно всегда у нас звучало: / Аллаверды!» (Воспоминания графа Владимира Александровича Соллогуба. СПб., 1887. С. 242).

Бабочки (отрывок из поэмы). – Впервые: Nabokov's Butterflies: Unpublished and Uncollected Writings / Ed. by V. Boyd and R. M. Pyle. Boston: Beacon Press, 2000. P. 122. Набоков записал отрывок, который датируется ок. 1926–1929 гг., на фронтисписе экземпляра своего романа «Король, дама, валет» (1928) с дарственной надписью энтомологу Н. И. Кардакову (1885 или 1884–1973) и с рисунком махаона. Печатается по этому единственному обнаруженному американским коллекционером Терри Майером источнику.

Из калмбрудовой поэмы «Ночное путешествие». – Впервые: Рувль. 1931. 5 июля. Печатается по тексту сб. «Стихи» 1979 г. С чтением этой стихотворной мистификации, в которой пушкинский Ченстон становится попутчиком вымышленного Калмбруда, Набоков выступил в июле 1931 г. в берлинском «Клубе поэтов». В образе критика Джонсона он вывел Георгия Иванова, опубликовавшего в журнале «Числа» в 1930 г. оскорбительную для Набокова рецензию, вызвавшую общее возмущение («Не воспевать же в самом деле, / как за крапленую статью / побили Джонсона шандалом?»), а в образе другого, безымянного, критика и поэта – Георгия Адамовича («К иному критику в немилость / я попадаю оттого, / что мне смешна его унылость, / чувствительное кумовство <...> / Бедняга! Он скрипит костями, брэнча на лире жестяной; / он клонится к могильной яме / адамовою головой»).

С. 162. Vivian Calmbrood – анаграмма Vladimir Nabokov. В 1921 г. Набоков в Кембридже сочинил стихотворную пьесу «Скитальцы», которую выдал за свой перевод первого действия английской трагедии Вивиана Калмбруда (подр. см.: Набоков В. Трагедия господина Морна. Пьесы. Лекции о драме. СПб., 2008. С. 551–552). Поздний и более точный вариант анаграммы, использованный в «Лолите», – Vivian Darkbloom.

С. 164. очинив – в газетной публикации: отточив.

Слава. – Впервые: Новый журнал. 1942. № 3. С. 157–161.

В журнальной публикации поэма разделена на четверостишия и подписана: «Апрель 1942 г. В. Набоков–Сирин». Печатается по тексту сб. «Стихи» 1979 г. с примечаниями Набокова и с учетом текста двуязычного сб. 1970 г. «Poems and Problems» (p. 102–112). Об этом стихотворении Набоков в 1949 г. заметил следующее: «<...> в нем некий дьявол, похожий на восковую фигуру, соблазняет свободного поэта всякими вещественными наградами. На псевдоним “Сирин”, под которым я так много писал, намекается в одной из строф образом человека, загримированного птицей.

Те, кто помнят “Памятник” Пушкина, заметят в одном месте маленькую парафразу» (Набоков В. Заметки <для авторского вечера «Стихи и комментарии» 7 мая 1949 г.> / Вступ. ст., коммент. Г. Глушанок // В. В. Набоков: pro et contra. Антология. Т. 2 / Сост. Б. В. Аверин.

СПб.: РХГИ, 2001. С. 138).

С. 168. Перечтите / и остановитесь на этих строках. – Это предложение обращено к тем, вероятно несуществующим, читателям, которым могло бы быть интересно разгадать намек на связь между Сирином, сказочной птицей славянской мифологии, и Сириным, псевдонимом, под которым автор писал в период между двадцатыми и сороковыми годами, содержащийся в строках 45–47 (примеч. В. Набокова).

С. 169. ...ныне дикий пребудет в неведенье <...> друг степей для тебя не забудет степей. – Подражание пушкинскому «Памятнику» (примеч. В. Набокова).

С. 170. ...привкус анисовый... – Анисовое масло употребляется в парфорсной охоте, чтобы намеренно сбить с пути собак, преследующих дичь (примеч. В. Набокова).

Парижская поэма. – Впервые: Новый журнал. 1947.

№ 7. С. 159–163. Печатается по тексту сб. «Стихи» 1979 г. с примечаниями В. Набокова и с учетом текста журнальной публикации. Стихотворение, по замечанию автора, «по появлении своем в нью-йоркском “Новом журнале” вызвало устные упреки в туманности. Оно станет яснее, если иметь в виду, что вступительные его строки передают попытку поэта, изображенного в этих стихах, преодолеть то хаотическое, нечленораздельное волнение, когда в сознании брезжит только ритм будущего создания, а не прямой его смысл» (Заметки <для авторского вечера>. С. 137).

С. 172. ...ils furent des anges comme vous... – они были ангелами, как вы (фр.). От кочующих, праздно плутающих... – Подражание некрасовской строке «От ликующих, праздно болтающих...» (примеч. В. Набокова).

С. 173. Так он думал... – Подражание пушкинским строкам «Так думал молодой повеса...» и т. д. (Примеч. В. Набокова.) Carmina – стихи (лат.).

С. 174. ...с кандачка... – Набоков использовал старую форму просторечного выражения «с кондачка», отмеченную, к примеру, в словаре Ушакова...боль позвонка перебитого <...> Бульвар Араго. – До совсем еще недавнего времени на этой улице Парижа производились публичные казни путем обезглавливания (примеч. В. Набокова). Чуден ночью Париж... – Подражание описанию Днепра в «Страшной мести» Гоголя – «Чуден Днепр при тихой погоде...» и т. д. (Примеч. В. Набокова.)

К кн. С. М. Качурину. – Впервые: Новый журнал. 1947. № 15. С. 81–83. В журнальной публикации поэма носит название «Кн. С. М. Качурину

(послание в стихах)». Включена в сб. «Poems and Problems». Печатается по тексту сб. «Стихи» 1979 г. с примечаниями Набокова.

В 1949 г. Набоков охарактеризовал адресата послания следующим образом: «Стихотворение <...> посвящено моему большому приятелю, известному автомобильному гонщику, князю Сергею Михайловичу Качурину. Года три–четыре тому назад представился случай инкогнито побывать в России, и добрейший Сергей Михайлович очень уговаривал меня этим случаем воспользоваться. Я живо представил себе мое путешествие и написал следующие стихи» (Заметки <для авторского вечера>. С. 137–138). В позднем примечании в сб. «Poems and Problems» Набоков изменил имя Качурина и добавил новые детали: «Качурин, Стефан Мстиславович. Мой бедный друг, бывший полковник Белой армии, умерший несколько лет тому назад в монастыре на Аляске. Только золотым сердцем, ограниченными умственными способностями и старческим оптимизмом можно оправдать то, что он присоветовал описываемое здесь путешествие. Его дочь вышла замуж за композитора Торнитсена». Приведенное в этой справке отчество князя указывает на учителя детских лет Набокова художника Мстислава Добужинского (1875–1957), которому Набоков посвятил стихотворение «Ut pictura roesis» (1926) и чей мемуарный очерк, напечатанный в «Новом журнале» в 1942 г., он назвал очаровательным (Переписка Владимира Набокова с М. В. Добужинским /

Публ., вступ. заметка и примеч. В. Старка // Звезда. 1996. № 11. С. 99). Фамилия Качурин значилась в списке угасших русских аристократических родов, который в 1920-х гг. Набоков получил от своего берлинского знакомого Н. Яковлева. Набоков несколько раз использовал ее в своих произведениях. В «Даре» (1938) упоминается эмигрантский «роман генерала Качурина “Красная Княжна”», в «Бледном огне» (1962) – авиатор князь Андрей Качурин, в романе «Ада» (1969) княжна Качурина – прислуга в борделе.

С. 177. ...и всем долинам дагестанским... – ссылка на известное стихотворение Лермонтова («В полдневный жар в долине Дагестана...») (примеч. В. Набокова).

С. 180. ...в техасы... – В сб. «Poems and Problems» иная транслитерация: «в тексасы» (р. 140). ...к чарующему «чапаралю»... – В отличие от журнальной публикации и сб. «Poems and Problems», слово «чапараль» в сб. «Стихи» 1979 г. не взято в кавычки, что предполагает вечнозеленый кустарник, растущий в Северной Америке, в то время как Набоков под чапаралем подразумевал птицу *chaparral cock* (калифорнийская земляная кукушка, *Geococcyx californianus*, обитающая в пустынях и полупустынях на юге и юго-западе США). Это обстоятельство Набоков специально отметил в своем прозаическом аннотированном английском переложении поэмы, посланном Э. Уилсону 22 февраля 1947 г. вместе с ее отпечатанным на машинке русским текстом (см.: *Varabtarlo G. "To Prince Kachurin" – For Edmund Wilson // The Nabokovian. 1992. № 29. P. 30–34*).

Владимир Набоков с женой Верой на чае в студенческом обществе Фи Сигма (колледж Уэллсли, 1942).

Флоренс Матильда Рид, в 1927–1953 гг. президент колледжа Спелмана (Атланта, штат Джорджия). Набоков гостил в ее доме в октябре 1942 г. Снимок из архива колледжа, 1945 г.

Студентки Спелмана за учебой и сбором носильных вещей для отправки в Россию, союзнику США во Второй мировой войне. (Spelman Messenger, февраль 1943 г.).

Афиша американского кинофильма «Великий диктатор» (1940), в котором Чарли Чаплин исполнил роль Аденоида Хинкеля, диктатора вымышленной страны Томэнии.

Фрагмент комикса о Супермене, использующего свое суперзрение (16-й выпуск).

Американский критик и писатель Эдмунд (Банни) Уилсон, 1951 г.

Мистер Зловещий (Mister Sinister) на страницах 16-го выпуска комиксов о Супермене (май 1942 г.).

Обложка первого издания романа Набокова *Bend Sinister* (New York: Henry Holt, 1947).

Обложка 16-го выпуска комиксов о Супермене (май 1942 г.). Изображенная на ней сцена в парке, несколько ключевых деталей и реплика Лоис Лейн послужили Набокову для его стихотворения.

1

Набоков В. *Другие берега*. М.: АСТ: Corpus, 2022. С. 273–274.

2

Подробнее об этих замыслах см.: Владимир Набоков. Переписка с Михаилом Карповичем 1933–1959 / Предисл., состав., примеч., перевод с англ. А. А. Бабилова (Библиотека «Литературного наследства». Новая серия. Вып. 2). М., 2018. С. 17–18. Бабилов А. Прочтение Набокова. Изыскания и материалы. СПб., 2019. С. 358–411.

3

В движении. Русские еврей-эмигранты накануне и в начале Второй мировой войны (1938–1941) / Состав., вступ. ст. и общ. ред. О. В. Будницкого, примеч. М. Байсвенгера и Т. Л. Ворониной. М., 2020. С. 441–442.

4

Возможно, верная дата письма 18 июня, так как публикуемое ниже письмо Набокова к Пирсу датировано этим днем.

5

Dear Bunny, Dear Volodya. The Nabokov – Wilson Letters, 1940–1971. Revised and expanded edition / Ed. with preface and notes by S. Karlinsky. California University Press: Berkeley et al., 2001. P. 72. Перевод мой. Слово «виршей» написано по-русски латиницей.

6

В оригинале «in the middle of her favours» – отсылка к вольному замечанию Гамлета в разговоре с Розенкранцем и Гильденстерном («Гамлет», акт 2, сц. 2): «Then you live about her waist, or in the middle of her favours?» («Так вы живете около ее пояса или в средоточии ее милостей?» Перевод М. Л. Лозинского).

7

Английская версия «Весны в Фиальте» (1936), перевод которой Набоков подготовил совместно с Петром Перцовым, была отклонена «Нью-Йоркером» и увидела свет только в 1947 г. в американском журнале «Harper's Bazaar». Подробнее см.: Бабилов А. Примечания редактора // Набоков В. Полное собрание рассказов / Состав., примеч. А. Бабилова. 3-е изд. СПб., 2016. С. 732–733.

8

В оригинале неологизм «procrustized», образованный от англ. Procrustes – имени мифического разбойника Прокруста, подстерегавшего путников на дороге и предлагавшего им ночлег, – и англ. sized – изготовленный по размеру. Низкорослых путников Прокруст укладывал на большое ложе и ударами молотка разбивал им кости до тех пор, пока ноги жертвы не касались края кровати, а высоких путников он клал на узкое ложе и отрубал им те части тела, которые в нем не помещались.

9

Архив Набокова в нью-йоркской Публичной библиотеке (Berg Collection). Перевод мой. Об истории отношений Набокова с «Нью-Йоркером» см.: Воронина О. Набоков в журнале «Нью-Йоркер» // Звезда. 2005. № 4. С. 127–142.

10

Boyd B. Vladimir Nabokov. The American Years. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. 1991. P. 44. Перевод мой. Привожу настоящий отрывок по оригиналу, поскольку русский перевод книги Бойда в этом месте неточен.

11

Field A. Nabokov: His Life in Part. New York: The Viking Press, 1977. P. 265–266. Перевод мой.

12

Field A. The Life and Art of Vladimir Nabokov. New York: Crown Publishers, Inc., 1986. P. 244–245. Перевод мой.

13

Набоков сравнил южный Спелман с северным Уэллсли (Массачусетс), частным гуманитарным женским колледжем, в котором в то время преподавал.

14

Приятное времяпрепровождение (англ.).

15

Набоков В. Письма к Вере / Вступ. ст. Б. Бойда, коммент. Б. Бойда и О. Ворониной. М., 2017. С. 421.

16

Там же. С. 422.

17

Негритянские духовные песни (англ.). Там же. С. 423.

18

С декабря 1941 г. Набоков выступал в колледже Уэллсли с лекцией «Созидающий писатель», которая впоследствии преобразилась в известное эссе «Искусство литературы и здравый смысл».

19

По-видимому, имеется в виду «Softest of Tongues» («Нежнейший из языков»), опубликованный в декабре 1941 г. в журнале «Atlantic Monthly». Отложившаяся в бумагах Уилсона машинопись этого стихотворения, в котором есть слова «prash-chai / which means “good-bye”» («прощай, что значит “до свидания”»), озаглавлена иначе: «Farewell Party» («Прощальная вечеринка»).

20

Источник в очерке не указан, но можно установить, что цитата в нем приведена по английской статье Елены Александровны Извольской «Четверть века русской эмигрантской литературы»: Iswolsky Helen. Twenty-Five Years of Russian Émigré Literature // The Russian Review. 1942 (April). Vol. 1. № 2. P. 61–73. Извольская продолжает так: «Он, кроме того, без сомнения, и самый странный писатель, сочетающий пессимизм и “распад” <...> с лирическим напряжением и истинным драматизмом, которые уносят его далеко от сферы разочарования. Мир Набокова это зачарованный мир, и если он порой кажется туманным и текучим, то это потому, что автор сознательно избегает жестких рамок традиционного романа» (P. 71). Перевод мой.

21

Vladimir Nabokov Visits Spelman // Spelman Messenger. 1942. Vol. 59. № 1. P. 5–7. Короткий отчет о выступлениях Набокова появился также в октябрьском выпуске университетской газеты «Campus Mirror». Стихи о

Супермене в нем не упоминались; в конце было отмечено, что «хотя разговорный английский г-на Набокова не идеален, его обаяние, характер и навыки способствовали полному и общему пониманию» (Kendrick E. V. Vladimir Nabokov // Campus Mirror. 1942. Vol. XIX. № 1. P. 3).

22

Письмо от 3 августа 1942 г. (Набоков В. Письма к Вере. С. 412–413).

23

Строки об играх ребенка Супермена напоминают следующее место из «Пищи богов»: «Дешевые газетки сообщали своим читателям о подвигах трех сыновей Коссара: эти необыкновенные мальчики поднимают тяжелые пушки! Бросают на сотни ярдов громадные куски железа! Прыгают в длину на двести футов! Говорили, что они копают глубокий колодец, глубже всех колодцев и шахт на свете <...> Ходкие журналы уверяли, что эти дети сровняют горы с землей, перекинут мосты через моря и изроят туннелями вдоль и поперек весь шар земной. <...> Они все еще были детьми, медленно растущими детьми нового племени. Их исполинская сила увеличивалась день ото дня <...>» (Уэллс Г. Собр. соч.: В 15 т. / Под ред. Ю. Кагарлицкого. Т. 3. М., 1964. С. 297).

24

Набоков В. Ада, или Отрада / Пер., послесл., коммент. А. Бабилова. М.: АСТ: Corpus, 2022. С. 423.

25

Бойд Б. Владимир Набоков. Русские годы. Биография. СПб., 2010. С. 205.

26

Набоков В. Приглашение на казнь. АСТ: Corpus, 2021. С. 59–60.

27

Бойд Б. Владимир Набоков. Русские годы. С. 218–219.

28

Там же. С. 219.

29

Гиппиус З. Zeppelin III // Речь. 1909. 27 сентября. № 265. Цит. по: Гиппиус З. Н. Стихотворения / Сост., вступ. ст., примеч. А. В. Лаврова (Новая библиотека поэта). СПб.: Академический проект, 1999. С. 182.

30

В редакционной статье «Летательные снаряды. По поводу проекта “Летуна” С. Барановского», напечатанной в журнале «Нива» (1881 г. № 45. С. 998–999), после перечисления предшествовавших «летуну» изобретений – «“летунчик” доктора Дедюлина», «“летунья” капитана 1-го ранга Можайского», – следует подробное описание и чертеж этого летательного аппарата и высказано мнение, что «проект г. Барановского принадлежит к наиболее интересным проектам летательных снарядов, которыми, быть может, будут обладать и управлять грядущие поколения».

31

Квинт Гораций Флакк. Избранная лирика / Перевод и коммент. А. П. Семенова-Тян-Шанского. Л.: Academia, 1936. С. 7.

32

Сирин В. Гроздь. Берлин, 1923. С. 141.

33

Поздняя автохарактеристика из предисловия Набокова к сб. «Poems and Problems» (McGraw-Hill, 1970) в переводе Веры Набоковой (Набоков В. Стихи. Анн-Арбор, 1979. С. 4).

34

Бойд Б. Владимир Набоков. Русские годы. Биография. СПб., 2010. С. 241.

35

Berg Collection / Vladimir Nabokov papers / Letters to Elena Ivanovna Nabokov.

36

Бойд Б. Владимир Набоков. Русские годы. С. 239.

37

Автограф в тетради 1923 г. (Berg Collection / Vladimir Nabokov papers / Manuscript box. Album 8).

38

Тема сновидений в книгах Набокова, их пророческой силы в его собственной жизни, подробно рассмотрена Геннадием Барабтарло в «Я/сновидениях Набокова» (СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2021), в которых воспроизводятся дневниковые записи Набокова 60-х гг. об увиденных им снах.

